

0.
~~1-5053~~
П 62590

№ 58

ГРЯДУЩИЙ МИР

К Н И Г А
П Е Р В А Я

1923.
4800/х

У. Н. - 2/2
Б - КА

ГЛАВПОЛИТПРОСВЕТ У. С. С. Р.
МАЙ 1922 ИЮНЬ

К. 5808.

ГРЯДУЩИЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТ-
ВЕННЫЙ, ПОЛИТИЧЕСКИЙ,
НАУЧНЫЙ И КРИТИЧЕСКИЙ
МАРКСИСТСКИЙ ЖУРНАЛ.

1923
480 а/х

Ч. II. - 4/2
Б - КД.

МАЙ ГЛАВПОЛИТПРОСВЕТ У. С. С. Р. № 1
1922 г.

59
68

8986.7

ЧНМ ННШУДР97

ТИПОГРАФИЯ
Ц. К. К. П. (б.) У.
«КОММУНИСТ»
Пушкинская 31

1/4-1/2
Ах-5

8191
+6084

Г. М. 1930-1931

СКАЗАНИЕ ОБ АРЗАМАСЕ

ПЕТР ПЕРШИН.
ВАЛЕНТИН КАТАЕВ.
ЮРИЙ ОЛЕША.
УПТОН СИНКЛЕР.

ПЕТР ПЕРШИН
ВАЛЕНТИН КАТАВ
ИОАНН ОЛЕША
АЛТОМ ЧИРКОВ

СКАЗАНИЕ ОБ АРЗАМАСЕ.

ПОВЕСТЬ.

Вот вам, детушки, сказание о вольных молодцах, удалых ребятушках славного атамана Степана Тимофеевича, о том, отчего они на разбой пошли, как с неправдою боролись и как поскладывали свои буйны головы.

Помянем их не слезами, не рыданием, а чарой зелена-вина, да саблей вострою, булатною во поле бранном.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

1.

— Зима-то нынче снежная. Эй, намело! И не видать малинника... А сказывала:—у малинника, что за яблоней. А где яблоня? Много их тут, не поймешь...

Топтался парень дожидаячись. Видно рано пришел. Да и от вечерни не отзвонили еще.

Сад-то как засыпало—сугроб на сугробе. Во-о-он тропиночка вьется, прямо к забору, где в тесовине от выпавшего сучка, глазок сделан.

Ударили в колокол Преображенска монастыря. Загудел воздух распираемый медью. Пошел из церквей народ, скрипит сапогами. Молитвы на морозе проветривает.

Наклонился парень к глазку, смотрит. Вишь, народ пошел. Вон и родитель ейный. Нет, не придет, обманула.

А по тропиночке в одной душегрее, накрывшись платком, косы русые растрепавши, подкрадывается девица. Подкралась сзади и пальцами закрыла парню глаза. Оглупел парень.

— Ксюша, ты?

— Ан нет!—заговорила басом,—У Ксюши голова от ладану разболелась—ушла в горницу. А это родитель Ксюшин.

И расхохоталась. Обернулся парень, схватил за руки, в глаза серые заглядывает. А глазки смехом искрятся. Тепло пошло по душе у парня от смеха такого.

— Ксюша, любя моя... Радость моя... Глазки твои светлые.

Нежно и ласково подняла руки Ксюша. Взяла за голову, притянула к себе, смотрит любовно, говорит:

— Сокол мой ясный, солнышко, желанный мой.

Спохватился парень, что милая без шубки, набросил на нее свой кафтан, шапку под ноги кинул.

— Озябла, родная.

— А отец в церкви на тебя-то глядел, глядел. Присматривается, видно. И с дядькой твоим говорил. А я думала—а мы-то и раньше пригляделись.

Любо слушать девицу, любо глядеть в глаза ее серые. Зовут уста полукротытые, зубки, что кишень белые поблескивают. Радостно ей первой радостью любовною, светлой, что зорька внешняя, что ручей лесной чистой.

И нет мороза, нет снега, Эх, кабы вынуть сердце! Загорелось-бы полымем, растопило бы сугробы снежные, травка-бы проглянула изумрудная, цветочки заулыбались бы ясные.

Нет холода и смерти для любви чистой, для любви первой. Что солнце весеннее гонит с полей покровы зимние, пробуждает муравушку степную, зовет птиц перелетных,—так любовь первая гонит заботы житейские, пробуждает сердце молодецкое, зовет отдать душу и жизнь для девицы красной ради глазок ее серых, поступи плавной, одной улыбки счастливой.

Бегут минуты, торопятся. И чего торопиться? Ночка быстро наступает, звезды сквозь тучи проглядывают.

Шептались парень с девицей. Всю-бы ночь так простоять.

— Никитушка,—шепчет девица,—Никитушка, желанный мой. Идти надо. Вишь, звездочки, как поднялись. Поздно. Батюшка хватится—заругает.

— Ни по твоему будет—озябла ты. Прощай, невестушка, спи в светлице своей ясной. Храни тебя Бог.

И потянулся парень, обнял ее нежно таково. Поцеловать бы в уста алые.

Закрyla Ксения ладонями губы его, сказала ласково:

— Не надо, нельзя, Никитушка. После,—шепотком прибавила, покраснела,—после свадьбы. Уж как целовать меня станешь.

И обняла его. Прижалась.—Ах, как люблю тебя, Никитушка.

И сама-то видно хотела—нечаянно коснулась своими устами горячих уст его.

Еще раз в глаза посмотреть...

— Прощай.

Как вдруг из куста вышло два человека, из другого три.

— Постой прощаться-то!

— Ты кто?—выступил Никита.

— А ты, что за указчик? Вяжи его, ребята!

— Беги, Ксюша,—крикнул Никита. Схватился с двумя врагами, покатила по снегу. Одолея одного, другие надели. С забора новые, как черти, прыгали с рожками размалеванными сажей.

Помчалась Ксюша, что коза быстрогоногая от собак лютых. Обернулась. Увидала, одолевают Никитушку враги. Стала. И набежали на нее, схватили, рот платком заткнули, руки, ноги повязали, в шубу укутали. Тьма покрыла глаза ее серые...

И видел Никита, как через забор передали Ксюшу в шубу завернутую, как враги прыгали на улицу. Поднялся, кинуться за ними хотел, да хлынула кровь из головы, раны глубокой—померкло кругом.

И пролежал до утра Никитушка, обогрив кровью свой снег, чистый, как любовь первая.

2.

Много дней плачет Ксенюшка, не смыкая глаз. Все мерещится Никита, кровью облитый, с врагами в схватке.—Господи, жив-ли мой родимый?—И вновь убивается, плачет.

А горенка, что жар горит. Стены обиты багряным аксамитом, пол застелен коврами заморскими, окна слюдой прозрачной за

ставлены, на лавках бархат, полог кисейный туманом спустился, окутал резную деревянную кровать, постель-то, почитай, ни единой пупинки, кроме как лебяжьей.

На столе чего только нет!—тут тебе и птица всякая жареная, и орехи, и пастила турецкая, и вино разное сладкое, да и с еще подальше стран. Но ни на что не глядит Ксеньюшка—к батюшке родимому рвется, о женихе милом убивается.

А приходит к ней молодец и красен он и пригож, что девица. Словами ее улеживает, подарками задаривает. Он и есть ее тюремщик, его люди ее похитили, он разлучил ее с милым, да с батюшкой. А зовут его Михайлой, по отчеству Юрьевич, по прозванию Долгорукий, чин на нем княжеский, а служит царю воеводою Арзамасским.

Пригорюнилась Ксения, в окошко на широкий двор глазами пустыми посматривает. Сумерки падали. Пред божницей лампы лики святых освещают, на аксамите стен рдеют пятна багряные. Вдруг тихонько отворилась дверь и вошел сам воевода. Что и говорить—статен, что тополь, белолиц и чернобров, взор быстрый, силен телом и крепок ногами. Молод еще для воеводы, да отец его сидит великим воеводой в Нижнем-Новгороде и сына посадил недалеко от себя в Арзамасе.

— Доброго вечера, красная девица,—сказал воевода князь Михайло, кланяясь в пояс.—Что пригорюнилась? Али не по праву тебе что пришлось? Али горница не хороша?

Обернулась Ксения.

— Хороша твоя горница, хороша и клетка золотая. Пусти меня на волюшку к родителю старому. Одна отрада я для него и-ту ты отнял... Пусти меня. Душно мне в хоромаш твоих богатых. Слезами изойду от тоски пленной.

— Ой-ли? Не след девке плакать. Что в слезах толку? Пора и за песни взяться. Пора,—приблизился он к ней,—и меня полюбить.

Поблднела Ксения.—Ты пьян, князь. Пойди от меня. Не мучь, не издевайся.

— Аль мука? Нет, врешь, любовь девкам, что молодцу зелено вино—первая рюмка колом, вторая соколом, остальные мелкими пташками... Аль не так?—распаялся князь.—А у тебя-то тело белое, груди полные...

— Уйди, князь, не доводи до греха. И блеснули глаза у Ксении, страшно лицо стало. Остановился князь, но вспомнил, как смеялся и бил об заклад товарищ его царский спальник Иванко Милославский. И захотелось ему под пьяную руку удаль свою пред ним пораньше показать.

— Постой, князьничко,—пробормотал он,—мы Долгорукие почище вас Милославских!—И схватил Ксению за руки.—Не хочешь полюбить? Полюбишь! Заставим!

Рванул к себе Ксению. Застонала она от боли. Ускользало сознание. А князь руками горячими обнимал ее, до груди нечистыми руками касался, уста раздавливал пьяными своими устами и, озверев, повалил на постель, оскалив в борьбе жестокой зубы, срывая платье, тело белое обнажая, стыд девичий позоря.

У стола князь ковшиком золоченым вином заливал победу. А на постели, страдая от позора и боли лежала Ксения, поводя глазами, то на князя пьющего у стола, то на божницы с лампадами. И ка-

зался князь демоном—черный с блестящими вспышками парчевого боярского платья.

Встала с ложа своего Ксения и не знала, что с ней. Что такое страшное приключилось? Где батюшка? Где жених желанный? Пусто на душе. Все ушло. Ничто не вернется. Одно осталось—могила сырая и темная.

И опять, как впервой, тихонько растворилась дверь и выпустила кого-то стоявшего у стены. Князь, не оборачиваясь, спросил:—Ты Иван? Проиграл заклад—моя девка.

Широкими глазами смотрела Ксения на вошедшего. А тот шагнул вперед.

— Платить сейчас, чтоль, прикажешь?

— Никита!—воскликнула тихо Ксения, точно охнула. Князь живо обернулся.

— Ты кто?

— Жених ейный.

Князь ухватился за нож.

— Как сюда попал?

— А через дверь. Заклад, спрашиваю, сейчас платить?

— Люди!—крикнул князь и упал от удара топором. Хлынула кровь.

Бросил топор Никита, к невесте кинулся. Попятилась Ксения.

— Не трожь! Не трожь меня—опозорена я.—Крупные слезы падали и скатывались по платью.—Нету ничего, Никиша, нету. Не трожь меня.

У Никиты грудь рвало, горло душило, затмение в голове.

Застонала Ксения, заплакала. Прыгнула на окно, распахнула створки. Паром белым вошел мороз в горницу и рассеялся у пустого окна...

Тупотели по хоромам холопы—на крик княжий кинулись, найти не могут. А как хлопнула дверь и крикнули:—здесь ребята—кинулся Никита к окну и наземь. Да не убили, как Ксения. Голова гудела от прыжка, ноги замтели... Наклонился к ней, к родимой своей, повернул к себе лицом, откинул волосы и целовал в лицо долго—в кровавый ком, что раньше было его милой невестушкой, желанной Ксюшей...

Экие холопы, дурьи головы! Господина подняли раненого чуть-ли не на смерть, а убивец удрал... Упустили... Недогляд.

Послал князь Ивашко Милославский конных холопей в погоню за ворогом. А Ксению забыли на дворе до света. Все с раненым князем возились.

3.

— Нянюшка, нянюшка!

— Что-й случилось?

— Приехал!

— Кто?

— Стратон!.. Фу-у... Ух как запыхалась. Стою я это у иконы преподобной Параскевы Пятницы,—глянь, а он входит. В лице переменился, увидевши меня. Любит!

— Ишь-ты, страсти какие?

— А ты, нянька, не смейся... Мы переглянулись опосля-то. Я ему на паперти слово кинула. Ты сейчас, нянька, шубейку набрось, за ворота выйди, а как он придет—зови сюда.

— Ты, что, девка, с ума спятила? И, впрямь, я никак в толк не возьму. Зазорно с мужчиной молодым разговаривать, а ты в горницу его.

— Не перечь, нянька, делай, что говорят... Нянюшка, милая, беги скорее.

— Ты, Машка, не балуй.

— Нянюшка, золотая, бесценная, я платок тебе теплый подарю.

— Ни-ни,—мотала головою старуха,—отец увидит, зашибет.

— Не увидит, нянюшка, он к крестному на весь вечер пошел.

— Не след девке,—склонялась нянька.

— Я душегрею тебе дам.

— Нет, Маша. А какую?

— Какую хочешь. Беги скорейча, нянюшка.

— Ну ладно, пойду... Грех-то какой...

Заметалась по горнице Марья. Срамница. Вот тебе и купеческая дочка! Чего придумала? Ай девка!

Жарко в горнице—свеча, и та плывет в тяжелом шандале.

В сенях затупала сапогами нянька. Просунулась в горницу.

— Ну, Марья, твою привела. Зазорно... Платок-то пуховый?

— После, после...

Скрипнула дверь, впустила парня высокого да кудрявого. А Марья словно застыдилась—к печи стала, ногтем ковыряет. Забавница. Тряхнул кудрями парень, поклон отвесил—наше, мол, почтение... Марья-то, Марья! Ишь-ты, рукавом закрылась.

— Сты-ы-дно мне, Стратоша.

— Аль почему?

— Парня-то в горенку привела.

— Люблю тебя, Маша. Что-ж худого?

— Узнают девушки, засмеют.

— А что? И ты посмейся.. Кто ж не любит парнем, аль девицей. Бог жизнь дал, дал и любовь... А я, почитай, завсегда о тебе думал. Эх,—думаю,—приеду в Арзамас, увижу тебя, в глазыньки погляжу...

— Правда?

— Разрази меня на этом самом месте!

— Не врешь?

— Вот-те Господь!

— Думал?

— Кажинный день.

Заалелась Марья. Подошла, припала к милому.

— И я люблю тебя, Стратоша.

— Дайкося поцеловать.

— Целуй, Стратоша, люблю.

— Лапочка моя... Красива ты, Марья... Щеки,—эх, ровно маков цвет. Уста твои сахарные. Сладко целуешь, Маша. Век миловался бы.

— Стратоша, ужли любишь?

— Как перед Богом. Жисть свою так бы и отдал за тебя...

— Ты, парень, погодька отдавать жисть—понадобится—сказал купец Бакшеев, родитель Марьяин.

Отшатнулась Марья от милого, что от змеи, а парень и руки опустил. Как гром грянул купец.

— А ты, Марья, как пашни заводишь, дозор помоложе высылай. Нянька храпаку в карауле задала. Ужо с вами обоими расправлюсь... А тепер я с парнем поговорю. А ты,—все более возвышал голос купец,—брысь! Слышь, брысь!

Ахнула Марья, и вон... А купец на лавку сел, осмотрел парня и почал:

— Да, Стратон Елизарыч, с тобой я иначе речь поведу. Сказывай, какую казну имеешь? А?

Выпрямился Стратон, тряхнул кудрями.

— Богатая казна у меня, купец имянитый. Перво на перво—жисть молодая, второе—воля вольная, а третье—руки крепкие.

— А-а-а-а! И все? И с этой казной ты, как вор, прокрался в мой дом и восхотел украсть дочь мою? Глаза твои завидующие, разбойничьи, на мое добро зарятся. Приданным глотку свою набить хочешь?.. Не бывать этому!—Вскочил купец,—не отдам тебе Марью! Своими руками задую, не отдам. Знай, с твоею, парень, казной в разбойники идти. Слышь? И вон! Чтоб твоего духа здесь не было. Зашибу!

— Зашибить меня не можешь—казна разбойничка крепче. А на слове ласковом спасибо. Лихом не помяну. Прощай.

— Прощевай!

Стукнула дверь за парнем. Пошел через сени. А в темных сенях руки схватили его, обняли. Зашептались слова девичьи, теплые.

— Люб ты мне, Стратона. Твоя я. Люб ты.

И пронала... Вышел парень на улицу, голова закружилась.

С твоею, парень, казной—в разбойники идти...

Ин ладно!..

4.

Во царевом кабаке веселье. Угощает народ прохожий человек—удалой молодец. На прилавок кинул мошну—угощайся народ, знай наших.

А прохожий разодет в парчу-бархат, что боярин твой, а прохожий богат, что купец, а прохожий удал, что разбойничек. И народ его величает. поднимает ему заздравную.

У стола, в дальнем углу Никита сидит, голова тряпкой повязана. И Стратон Елизарыч здесь. Прохожего слушает, на ус себе наматывает.

А прохожий похваляется:—у меня, мол, злата-серебра не счесть, у меня платья разного не сносить.

Его слушаючи, народ промеж себя разговор ведет.

И говорит прохожий человек.

— А чтож это, братцы, неправда какая—я и богат, и одет, и сыт, и пьян, а вам чуть не с сумой идти. Кака така напрослина.

Отвечает ему дедушка, боярина Тугина человек:

— А такая, что может и боярин ты, пришел пьяным делом в кабак, похваляешься.

— Эх, старик, старик!—говорит прохожий,—много ты жил, ума—не нажил. Что есть боярин? Откуда богатство? С хрян, да с вас горожан поборы берут на утеху свои. От поборов стоном стонут хрянские, от власти боярской еще более. Там, слышать, боярин злыми собаками затравил хрянского, там жену отобрал, там невестушку обесчестил. За судом к воеводе и за правдою, а воевода тебя кнутыями сечь—не смей-де на бояр жалобиться. И нету управы на бояр лютых... Так ли я говорю?.. А нашелся такой человек, что задумал неправду извести. Набрал молодец, на стругах на тесовых, да по Волге широкой, по Дону веселому. Эх-ма, гуляй, душа, ничего не жалко! Правят закон ребята—жгут вотчины боярские, бояр толстопузых поджаривают:

А величают атамана Степаном Тимофеевичем, прозывают его Разиным. Ходят детки его в шелке-бархате. Угощают народ—пей, веселись!

Тут поднялся целовальник—душа холопская, ударил рукой о прилавок

— Врет все! Не слушай его, ребята. Царский, видно, он враг, разбойника Стеньки Разина сотоварищ.

Загалдел народ, заволновался. А Никита поднялся, на стол вскочил.

— Нет правды Божьей в боярах и воеводах. Не напраслину парень говорит. Убили у меня невестушку бояре, а мне голову проломии. Вот.

И сорвал тряпицу с головы, побежала кровь алая, закапала слезами тяжелыми.

— Долой бояр!—закричал народ и осекся. В двери ввалились стрельцы, длинородые, и сотник молодой обратился к гулящим:

— Эй, люди! Нет ли-ли здесь убийца—разбойника Никитки Сычева? Воеводу нашего князя Михайло Долгорукова поранил чуть не до смерти.

Замолк народ—испужался. А голос из них крикнул:

— Аль не пореший? Жалко. Знал бы, прикончил.

— Стой,—закричали стрельцы,—вяжи злодея!

А заезжий гость ухмыляется;—ан один из вас только молодец?

Поднялся тогда Стратон Елизарыч.

— Двое, говорит с тобой, а я третий.

И кинулись на стрельцов трое молодцов—заезжий гость с ножом булатным, Никита со дубиною, а Стратонушка со скамейкою.

Пробили себе дорогу широкую на улицу и на волюшку.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

1.

Прошла суровая зима, оттрещали последние морозы, теплом повеяло, сбежали снега, закурьлыкали журавли.

А лето выдалось жаркое, грозное. Набегали тучки, погрохатывал гром, полыхали молнии.

Снизу доносились вестушки. Странничков божьих проходило много. Все шли к святым местам—кто в Москву, а кто и подале. Сказывали про славного атамана Степана Тимофеевича, про справедливость его и про то, как он-де народ жалеет, а с бояр да с воевод много спрашивает и своим судом милостивым расправляется—кого на плаху, а кого и промеж двух столбов с перекладиной.

А у странничков и грамоты с собой бывали. Ночью соберутся, читают.

Чешут мужики затылки, поскребывают. Степана Тимофеевича ожидают, противу бояр топоры и косы готовят. Странников речи засели крепко:—Братцы, посадские, мужички, дворовы люди, близко отец наш родной атаман Степан свет Тимофеевич. Он-де Астрахань забрал, Саратов полонил, под Симбирском с воеводами бьется.

Воевода Арзамасский князь Михайло Долгорукий собрал бояр, да детей боярских с челядью на конях и пешую для отпора злодею. Из Нижнего стрельцов прислали достаточно с пищалями, да с огненной машиною пушкою.

Осень приходила крадучись—то одно дерево желтеть начинает, то другое. Девки хороводы водить стали. Мужики давно с хлебами убрались, по задворкам на гумнах застучали цепами.

Залетали паутинки. Дни теплые, солнечные. Бабье лето.

А тут все и началось.

Однажды к вечеру, уж ворота на запор закладывать стали, при- скакал гонец от войска старого воеводы. А князь Михайло только от охоты прибыл: нового сокола пробовал. Боек сокол—две криквы за- шиб, да журавля, да серую гуску, да чаплю. Не успел князь сбросить охотничий чекмень, долаживают—гонец-мол.

Осталось трое в горнице: воевода Михайло со князем Иваном и гонец. Многие гонец сказывал, указ от царя с большой печатью дал. Нахмурились были князья. Но скоро чело их разгладилось за пиром, веселием и рассказами про охоту удачливую.

Спать-от поздно легли.

Всю черную ночь беспокойно шумели деревья, шопотом предо- стерегались кусты, тайные думы уносила плескучая Теша.

Большие дела хоронила на востоке темная ночка, да не скоро- нила—пролилась струйка крови, натекла цельная лужа, раздвинуло ее головой кровавое солнце, пошло, поднялось покатыться по небу, тусменное.

Озарились арзамасские белые стены. Пастух захлопал бичем, заплакал рожок. Коровы хлестаясь хвостами тупоглазо перли в ворота, заскакали телята, на ходу поднимался бугай, бякали овцы.

Над далью степной, тусменное, встало солнце в пыли. И подня- лось. А пыль осталась.

На сторожевой башне стрелец в красном длинном кафтане ди- вуется гляючи на пыль. Рыжебородый, здоровый, оперся на секиру, ладонь над глазами щитком поставил. Диво! В пыли тусменное под- нялось солнце и ушло гулять по небу, целый день прошалает,—а облако пыли напрямки будто-бы движется. Навострил глаза дозорный стрелец, глядит.

И облако пыли растет, пухнет клубами, как змей расстилается... Дунул ветер в середину—ударили бубны, блеснули пики на солнце, замелькали конные. Ратные люди. Много. В лес вступили...

Рыжий стрелец вдарил в чугунное било. Тревога!..

Из изб выбегали стрельцы. Крестились. Опустивши секиры, бе- жали на башни. В длинных красных кафтанах заполнили стены. Пищали готовят.

На воеводином дворе смятение. Конные выводят коней, натачи- вают сабли. Ко княжьей опочивальне спешил Милославский, кула- ком застучал в дубовую дверь.

— Михайло, вставай. Живо! Вороги идут под Арзамас!

Вскочил князь Михайло. Одевался торопливо в полутемной гор- нице. В голове шумело от выпитой ромanei и крепкого меда, в ушах стоял сладкий шепот девки Лукерьи, по телу истома переливалась. Не ко времени тревога.

А когда князь поднялся на башню—из лесу на поляну под стену высыпали удалые ребята. Не счесть, что мураши. И пешие и конные.

Два атамана натянули поводья, осадили коней, на город гля- нули, белый с зубчатыми стенами, башнями, святыми церквами, хоро- мами. Прохлаждаясь, шажком под'ехали к воротам. Поднялся стар-шой на стремяна.

— Эй люди!

— Чего орешь?—высунулся сотник, проваливай, покелева цел.

— Ребятуншки! Что биться нам понапрасну? Мы пришли от славного атамана Степана Тимофеевича править закон и правду, устроить суд милостивый, на волю пустить народ подъяремный, с воеводой да с боярами расправиться. Открывай ворота. Вяжи бояр...

— Иш, соловьем поет!—высунул голову молодой стрелец, весело оклабавившись.

— Цыц!—крикнул на него сотник.—Эй, разбойники, душегубы,—обратился он к молодцам,—бросайте пищали, да пики, славайтесь воеводе. Авось помилует. Просите прощенья у князя.

— Не с тобой говорят, боярский послух, а со стрельцами. Кого, братцы, защищаете? Кровопийцев своих. Довольно что шкуру с вас дерут, а вы и жизнь отдаете. Не слушайте бояр, переходите...

— Ро-о-обя,—крикнул князь, всакивая на зубцы башни, вытаскивая саблю,—в пищали, по ворогам пали!

Побежало пламя по стенам, загрохотали пищали, серый дым потянулся, заволок стрельцов. В землю лицом уткнулись несколько молодцев—удалых разбойничков, смертными пальцами землю заскребали. На синее небо полетело дыхание парное, последнее. Дух покинул тела удалые.

Повернули тихонько коней атаманы, поехали молча. Один после одумался, обернулся и крикнул:

— Князь-воевода, а, князь воевода!

— Я самый!—наклонился вниз князь Михайло.

— Погляди—меня признаешь?

— Н-н-нет. Не припомню. Много у меня было вас холопей.

— Припомни. Я тот, что прошлой зимой невзначай тебя чуть не порешил.

— А это ты?. Помню—сладкая твоя девка.

Скрипнул зубами Никита, тихо сказал:—Еще поближе встренемся. Да князь услышал.

— И что? И встренемся, храбер ты, да и я не промах. Сшибемся.

—Сшибемся, князь!—ударил по сабле Никита,—жду твоей крови, изголодался, напьюся.

— Ой-ли?

А вправо ругались стрельцы с молодцами.

— Эй, ты, холуй, подбери штаны. Чиво пищаль взял? Куды, не за тот конец берешь, мурло. Тебе коров пасти, а не саблею величаться.

А молодцы в ответ:

— Боярекая сволочь, лизуны, псы жирные. Над своими измывается. Мы вас под Симбирском расщелкали, не прочухаетесь.

К левой башне Федька Портянка, дурачек, с топором подошел выкрикивал:

— Эй, стрелецкая мразь, чиво с боярами возжааетесь. В мешок их, да в воду. Мучители окаянные. Довольно они гадили нам на голову, пора открыть рот.

— Го-го-го-го!—покачивались на стенах стрельцы.—Ловко загнул. Открывай пошире рот, парень.

Солнце поднималось все выше. На поляне разложили костры. Шатры забелелись. На стенах появился народ. Замелькали платочки девок. Кто с молодцами балясничал посмешнее. Хохотали стрельцы. Стало весело.

Под вечер разговор где пошел потише. Озираючись, на веревках таскали сивуху. Под одной стеной потайные вели разговоры.

Солнце зашло, как и встало, тусменное. Долго плавали облака, точно багровые сгустки крови. Ночь набежала быстро. Полная темь.

2.

Утром была жестокая сеча. Много народу полегло. Князь Михайло измену кричал—стрельцы передались ребятам, ворота открыли. Едва усакал со князем Ивашкой, да с верными холопьями.

С криком, свистом вступили молодцы в Арзамас. Солнышко играло на срубе, на пестрых кафтанах. Пуганые попы трезвонили по колокольным. Не дорого дался город. Рассыпались все по улицам. Скоро на боярских дворах закричали, заплакали. Долг платежом красен.

Никита, как вихорь, проскакал к воеводским хоромам. Влетел во двор, врезался в толпу челяди. Гневным арапником заходил по холопским спинам. И увидели глаза зоркие княжьего стремянного, того, что зимой в саду Ксеньином ему кистенем голову рассек. Осадил коня перед ним. Побелел стремянный.

— Здорово, молодец!—ледяным голосом сказал Никита, вытаскивая саблю. А у самого в голове помутилось.

— Батюшка,—крикнул тот, падая на колени,—милостивец!

— Сказывай, собака, где Ксению схоронили.

— Не знаю, родимый, не знаю, благодетель.

— Не знаешь?—занес саблю Никита.

— Не я это... Видит Бог, не я...

— Где? Сказывай скорей—.

— Князь Иван... Милоставский... приказал... Видит Бог, не я. Батюшка, милостивец.

— Ну!

— Зимой это... могилу копать несподручно... в прорубь ее... в речку. Не я, родимый, не...

Завыла, сверкнув, сабля. Тело рухнуло. Голова, схваченная Никитой за волосы, захлопала глазами, бледный слюнявый язык выпирал изо рта.

Скрипел зубами Никита. Тряс кровавую голову. Оголоумел. Разбежались все в страхе...

К вечеру хоромы сгорели. Пожарище здоровый. А Никита, как пьяный, кругом ходил. Видно поминки по Ксению справлял.

А Стратон Елизарыч князя преследовал. Но добрые кони у князя, вызволили из беды неминучей. Вернулся Стратон ни с чем. И прямо, как был, потный и грязный на усталом запененном коне, прямо к милой своей прискакал.

Ворота открыты были. Его молодцы не промах—амбары купеческие ломили, до добра добивались. Старшой старика Бакшеева за бороду держал. Задрал купчина бороду, что пень молчит.

— Стой, сволочь!—захрипел Стратон. Саданул одного, саданул другого. Старшой сам старика пустил—забег. Смотрят молодцы—что-й то он?

— А вот, батюшка,—сказал Стратон,—и я понадобился. В раззор пустили-бы тебя молодцы. Обидел ты меня, но я зла не помню. А казна у меня теперь богатая. Чем не зять тебе? А?

Должно старик языка решился. Ни слова. Спрыгнул Стратон с коня и в горницу. Вбежал в Машину светелку, второпях ничего не видит.

— Мама!

Тихо.

— Мама!

Ни звука.

— Мама, и где ты?

И видит—к стене, озираючись, Мапа прижалась, белыми губами шевелит...

— Что ты? Что с тобой? Это я, Стратон...

И вдруг зашатался Стратон. Понял все. Глотал воздух, никак вздохнуть невозможно.

Опоздал парень. На девке не косы, а кика надета—жена чья-то, стало быть, законная. И давно, вишь, на сносах, брюхата.

Кто-сь рядом у печки, как взвост:—ой, страшно, ой, батюшки, страшно!

Отступил назад Стратон, оглянулся на няньку, сверкнул глазами. Замолкла та. Заговорил.

— Ты, Марья, не бойся, не убью, не трону. Забыла—така твоя любовь. Не знал, что ждало меня—лучше убиту быть.

Кинулся назад, вскочил на коня, огрел его по бокам и помчался. Вот награда за любовь крепкую. Верность женская с комариный нос. Жаль парня.

К ночи закроавился Арзамас. Гудели пожары, грабились дворы боярские. Голытьба пьяной напилась, песни орет, до погребов винных дорвались. Девки визжат...

Гуляют...

3.

Недолго пировали молодцы в Арзамасе, недолго тешили удаль свою, не ведали, не гадали, как тучи надвинулись.

Однажды в праздник собрались ребята гулять. Тут тебе народ честной, и кабак, и качели—зубайся себе сколь хочешь. Уж песни загорланили, как на улицу из городских ворот всадник выскочил, летит и кричит:—пропали, пропали!—Страх! Глянь, а сам-то в крови. И не понять кто—рыло сворочено.

— Пропали наши головушки!..

И на земь. Все к нему, а он только успел вымолвить:—воевода с войсками в Мурашине...—и дух вон. Порублен. Страсть!

Загомонили кругом. Туды, сюды—к начальникам-атаманам—так, мол, и так. А кто посмышленнее, снаряженье свое готовит. Сеча, что и говорить, сильная будет. Держись.

Вылезли, кто мог, на стены и башни, высматривают, потому ежели в Мурашине—совсем близко. У стрельцов зуб на зуб не попадает. Как-же,—кому кому, а им влетит. Молодцам, тем ничего—зубы скалят. Им биться первое удовольствие, привычны, что на гулянье идут.

— Вон, вон, идут!—загаддели на башне.

И впрямь—по дороге из Нижнего стала пыль. В-о-й-ска, не счесть. Сейчас Тешу—реку переходить будут. В Арзамасе все на коней сели. Стратон с Никитой поведут. Пошли. Ничего. А стрельцов в городе оставили, что-бы в случае чего охрана была.

..А с башни куды виднее. Войска чернеет этого самого. И ратным строем. Как-же!—вот спереди полк сторожевой, этот первым ударит, все люди такие крепкие, надежные. За ним полк, что железо. В правой и левой руке по полку, а посередине большой полк. И ведет его никак сам боярин Юрий Долгорукий. Старый коршун. С поляками и Литвой бился. Сапегу и Гонсеева, гетманов ихних в страх приводил не раз. Своей рукой повесил сродственников Степана Тимофеевича, когда те домой просились и бежать задумали из порубежной стороны, что на Литве. Злой старик. Ратное дело ведает славно. Царский служака.

А кто в сторожевом?.. Ага, князь Михайло. Батюшка осерчал на него. Так. Ты упустил, ты и иди первым. Правильное дело.

Эх наши пошли не ладно! Те строим, два полка вперед клином, а наши кучей, что волки, то слева больше, то справа. Побьют наших, видит Бог, побьют.

— Ты, малый, не толкайся. Вишь, гляди, что. А? Ты о чем?

Ага, это Никита Сычев орудует. Молодец парень—ты клином, а мы по бокам, да по морде. Ну, сейчас, Господи благослови, и почнут.

— Сшиблись, сшиблись, дедушка!..

— Ух, Господи, мороз по коже пошел!

— Никита, Никита где?.. А-а-а... вот.., молодчага, одно слово.

— Ой, бьются!

— Не видать. Пыль.

— Матушки, бегут!.. Н-н-нет, воротились.

Пошли в рукопашную.

— Шум-то, шум, что на пожаре.

Долго бьются ребята, крепкостоятельно. Руки болят, грудь, что огнем жжет, да уставать нельзя. Чуть притомился и смерть. Кричали, как в рукопашную шли, а теперь молчат. Сердце, того гляди, лопнет, пред глазами туман, что огневица. Иной саблей машет, рубит, а сам и не чувствует этого, ровно во сне.

Сторожевому полку аминь, приказал долго жить. Сгинули все, как один, только князь Михайло уцелел—храбросерд и крепкорук, не знающий страха. Почернел весь, а еще держится, если саблей его не тронет, то все равно не жить, сгорит снутри.

Рубился и Никита, знал, что последний раз. До князя лишь-бы дорваться. И услышал Бог его просьбы, довелось таки, увидел князя совсем близко, даже сердце екнуло. И князь приметил, повернул к Никите, обрадовался.

Захрапели, столкнувшись их кони, осели на задние ноги, замелькали сабли, сталь билась о сталь. Трескотня..

И охнул Михайло, покачнулся, взвизгнул конь, поволок князя на стремяни..

В это время ударил на молодцов полк Большой. Вел его сам воевода нижегородский. Видел он судьбу своего сына и полетел с поднятым шестопером на Никиту. А Никита стоял без дыхания, так и пал под ударом...

Стратон с горки все видел. Видел, как теснили товарищей, но ждал, сердцем воинским чувствовал, что не время еще. И только когда молодцы, задом отступая от напавших стрельцов, дошли до самой горки,—гикнул и со свежими силами ударил в самую середину Большого полка.

Бились с час. Ни та, ни другая сторона не сдавала.

Но, как ни грей гадюку, она тебя укусит, проклятая.. Из ворот Арзамаса выскочила куча конных. Оглянулись ребята, обрадовались—подмога идет. Но ошиблись—то смерть ихняя набегала.

Купцы, помилованные молодцами, видя великую битву, затеяли злую измену. Подговорили стрельцов, собрались на конь стари млад, прихватили приказчиков, побрали оружие и ударили в спину ребятам. И ребята погибли..

Окруженный стрельцами бился одиноко Стратон. Со всех сторон бросались вороги. И, падая под ударом секиры, увидел лицо купца Бакшеева—старого, страшного, с окровавленной саблей..

Всех побил воевода, а кто и спасся, то на лютые муки.

Князь Юрий пойманных велел заковать накрепко и беречь для пыток и казней.

На той горке, на холме, откуда ударил Стратон, по приказу воеводы поставили деревян—городок, кругом забили частоколом редким и вострым, настроили высокие хоромы, что о трех столбах, под котлами чугунными затрепали дымные костры, закипела смола и крутой киняток.

Ночью вышло решение князя:—... людей стрелецкого приказа из города Арзамаса, что нижегородского воеводства, за одоление душегубов и татей наградить, дав каждому новы сапоги, да кафтан, да шапку, а за бунт и измену посадить на колья кругом холма до кончины по татарский казни.

Никиту Сычева и Стратона Шугаева бить нещадно кнутом, колесовать, а как издохнут, повесить у дороги. Прочих пытать огнем и смолою, и сечь, и на дыбе поднимать и вешать...

До поздней ночи, до светлой зорьки работали каты. Из Москвы привез их воевода, завсегда за собою таскал. Руки отмахали себе, нечестивые,—секли батожьем. Стон стоял. Стратон со Никитою, раненные, после смерти мученической были повешены в цепях у дороги рядом.

А жителей города Арзамаса князь-воевода тоже не жаловал—в застенке гибнул народ безвинно, а прочим много протор и волокиды учинил.

4.

Солнце заходило с трудом. Пора ему на покой, довольно посветило народным мукам. Всех слышь, ребят Степана Тимофеевича под Симбирском разбили и сам он пойман был и, сказывают, везут его в Москву с братом, с Фролкой.

В Арзамасе вопли, и слезы, и пожарное разорение. По вечерам глядят со страхом на городище, над которым тучами вьется воронье...

Вести об Арзамасе разнеслись по всей по Руси и докатились до города Шуи, что у Владимира. В ту пору там проезжал купец, родом арзамасец, из богатеев, с Марьей Бакшеевой венчан, году нет. Как услыхал про Арзамас—затрясся и, кинув большой обоз, на арзамасе домой поскакал, мятясь душой о судьбе семьи, о жене, оставленной на сносях.

День и ночь ехал купец безостановочно, коня загнал и себя заморил. По пути сказывали ему про то, как князь, воевода нижегородский, побил разбойников и наказал примерно. Но о своих купец ничего не узнал и, убиваясь, гнал все скорее.

Недалече от Арзамаса конь его пристал, а он не слушаючи уговоров, что дорога идет местом нечистым и на ночь ехать не след—последними силами собрался и отправился в путь.

Ночь была холодная и темная. Ветер шумел, гнал рваные тучи, качал деревья. Сухие листья шуршали под конскими копытами. Мысли о жене и о доме жгли купеческую душу, томили неведением.

Уж близко. Сейчас на холм взобраться, а оттуда завиднеет и город. С краю, с земли вылезал багряный месяц и, круглый, поднялся цепляясь за тучи. Еще ближе. И увидел купец—на холме вырос город. Издали не разглядеть, приударил коня. А конь захрапел, вспотел, от страху боком все с дороги кидался.

Подъехал ближе купец... На высоких виселицах качались мертвецы, на кольях сидели тоже, пронизанные насквозь, в стрелецком

платье. Собаки рвали их за ноги, ели мертвечину. Кругом чернело воронье. Дремало нахохлившись на об'еденных головах.

Поднял морду конь, дрожить мелкой дрожью. Испужался спервоначалу купец, но потом, вспомнив горе свое, муки, жену молодую, может погибшую, разбойниками обесчещенную, загорелся злобой неукротимой, встал на стремяна, и захохотал, и крикнул:

— Так вам и надо, проклятые! Гнить вам до скончания века!..

И подскочил на коне к придорожной виселице, стегнул арапником по мертвому телу.

Закачался мертвец, загремели цепи, повернул голову, глянул пустыми глазными впадинами на купца, застонал. Обмер купец.

И загремели цепи по всему холму. Каркая, распластывая черные крылья, поднялись вороны, а за ними, звеня цепями, срывались с виселиц, колов, подымались мертвецы. Тянулись к купцу сжатые кулаки, стонали и плакали.

Захолонуло сердце у купца. Стегнул коня. Птицей взвился конь и помчался. А за ними все летели висельники и плакали слезами горячими, стонали, смрадным смертным дыханием обведали купца.

...Почто, почто купец, насмеялся над покойничками? И так им тягостно страдальцам, умученным, непогребенным.

Не выдержал скачки, пал заморенный конь. Пешим бежал купец. И руки костлявые хватали его за плечи, тянули, плакали рядом, кричали жалобно и страшно.

А добег, наконец, до города купчина, забился в дубовые ворота, выл от страха, ползая на корачках.

Когда стража сбежалась на крик и открыла ворота—без ума купец совсем был: плакал, молился, хохотал.

А в монастыре звонили. Звон расплывался по городу мягкими кругами, переливался чрез стѣны, бежал по поляне, будил сонных ворон в смертном деревянном городке.

Потянул северный ветер. Свежело. На башнях зябли в дозоре стрельцы. Слышь, перекликаются?

— Слу-уша-а-ай.

Петр Першин.

САМОСТРЕЛ.

Прапорщик Чабан, малый двадцати трех лет, тихий и недалекий, с васильковыми глазами, темнорусыми волосами и белыми девичьими руками—типичный студент, в свое время, во время войны с немцами, был храбрым и выносливым солдатом. Под Минском он взрывал со своим взводом горы и получил жестокую контузию правой стороны тела. Под Барановичами его переехал зарядный ящик, в Одессе в госпитале, где он лечился, у него сделалась чесотка. За это все он имел два георгиевских креста, пашку с анненским темляком и надпись „за храбрость“.

В девятнадцатом году он был мобилизован. Это случилось весной. У него не спросили, хочет ли он воевать и не спросили, сочувствует ли он добровольцам. Он должен был хотеть воевать и сочувствовать армейскому генералу с жандармской бородкой, портреты которого, перевитые георгиевскими лентами и украшенные скрещенными пушками, красовались всюду. Прапорщика только спросили на пункте, где он желает служить и, узнавши, что ему все равно, записали на бронепоезд и назначили телефонистом. Сначала бронепоезд стоял в ремонте в железнодорожном депо, и прапорщик Чабан через два дня в третий был караульным начальником охранявшего поезд караула. Часовыми у него были недоучившиеся юнкера, малолетние кадеты и вольноопределяющиеся в длинных артиллерийских шинелях с красными погонами.

Подвешенные на громадных цепях к законченному стекляному потолку тысящепудовые бронированные вагоны, похожие на танки, смотрели в разные стороны открытыми черными люками, из которых, как из открытых ртов повешенных, торчали набрякшие языки пулеметов. Среди страшного железного грохота, совершенно оглушавшего непривычное ухо, в запахе раскаленного железа и в синем чаду каменного угля плавали острые многоконечные звезды фонарей. Рабочие, оголенные по пояс, с телами, блестящими от сала и копоты, как у негров, возились у горнов, у станков, бегали с громадными тяжелыми молотами, клепали, ругались, мочили воспаленные головы под краном и курили махорку. Каменные сердитые лица их, полные злобы и презрения мелькали в рассеянном свете фонарей и вселяли в сердце Чабана странную непонятную тревогу. После того, как командир бронепоезда, молодой полковник воздушного флота, джентльмен с английским пробором, трубочкой и белым крестиком на синей гимнастерке, приказал усилить караулы и поставил в известность господ офицеров бронепоезда, что с рабочими нужно быть крайне осторожными и что подпольные коммунисты могут взорвать бронепоезд, прапорщику Чабану стало еще страшнее обходить по ночам стоявших как игрушечные солдатики с винтовками часовых. С ремонтом бронепоезда страш-

но торопились и работали 24 часа в сутки в две смены. Ежедневно откуда-то привозили новые английские пулеметы, дальномеры и охладители. Постоянно к воротам мастерских подъезжал великолепный блестящий синий лимузин, и группы генералов в сопровождении английских лейтенантов и французских капитанов, громко и весело разговаривая на разных языках, осматривали работы.

Прапорщик Чабан не понимал, что делалось вокруг. Он не знал, почему рабочие хотят взорвать бронепоезд и почему начальство хочет, чтобы этот бронепоезд был поскорее готов. Он не знал, почему красные дерутся с белыми и почему вся Россия разделилась на две части — на большевиков и на меньшевиков. Правда, офицеры бронепоезда, с которыми помещался Чабан в вагоне, постоянно говорили о том, что до тех пор, пока коммунисты будут у власти, Россия не перестанет бедствовать. Но почему это должно было быть именно так — никто не объяснял, и Чабан, который привык дома у себя в Умани к простым и не сложным разговорам о погоде, об университете и об охоте, был чужим в среде этих капитанов, поручиков и юнкеров.

В последнее время рабочих стали торопить еще больше и чаще стал наезжать автомобиль с генералами. Газеты писали о победах и о бегстве красных. Но в городе становилось все тревожнее, и уже были случаи, когда на окраинах убивали добровольческих офицеров. И вот однажды бронепоезд был готов, поставлен на рельсы и составлен. В тот же день полковнику принесли предписание из штаба, после чего он сейчас же запретил отлучку в город. А через день уже вполне готовый и вооруженный, подцепленный к длинному воинскому эшелону, бронепоезд стоял у рампы, готовый к отходу. Офицеры, кадеты и юнкера грузили в вагоны пледы и хорошие чемоданы, заплаканные дамы и изящные девицы окружали выкрашенные в защитный цвет стальные коробки бронепоезда. Часовые рисовались ружьями на башне, и командир первого орудия с походной сумкой и биноклем через плечо деловито бегал, наблюдая за проводкой телефонного провода. На рампе готовились служить молебн, и попы надевали ризы. Потом пели певчие, раздавали горящие свечи, шептались адъютанты генерала, приехавшего в лимузине. А после молебна командиру вручили новенькую блестящую икону Святого Николая, и генерал говорил речь. Говорил он о том, что красные враги сильные, что требуется напряжение всех военных сил для того, чтобы их сломить. Говорил он об Учредительном Собрании и о том, что именем Главнокомандующего всеми вооруженными силами юга, он приказывает пленных расстреливать на месте. При этом у него дрожали седые подусники.

Во время молебна Чабан крестился, во время речи генерала стоял на вытяжку, а после речи вместе с другими кричал „ура“.

А перед самым отходом поезда, гуляя по полотну, он встретился со своим старым гимназическим товарищем, фамилию которого забыл, но лицо которого хорошо помнил. Они поздоровались.

— Здорово, старик, — сказал Чабан, разглядывая легонькое пальтишко и небритое лицо приятеля. — Сколько лет, сколько зим, что ты здесь делаешь?

Приятель улыбнулся славной студенческой улыбкой.

— Работаю в железнодорожном госпитале. А ты что? добровольцем заделался?

— Мобилизовали.

— Ага. Что ж, вы этим поездом думаете раздавить Советскую Россию? В Москве завтракать собираетесь, нет?

— Что у тебя за странный тон, ты что, коммунист?

— А ты контр-разведчик?

— Нет.

— Да, коммунист.

Приятели помолчали, а потом Чабан сказал:

— Вообще, все это очень странно. Вот, генерал только-что говорил речь, чтобы расстреливать пленных, и что коммунисты наши самые злые враги, а я с тобой вместе учился и мы вместе на казну ходили и вместе старые книги продавали. А ты теперь коммунист, а я доброволец и значит, я тебя должен убивать, а ты должен меня при первом удобном случае в Чека посадить. Ничего не понимаю. Объясни мне, пожалуйста.

Но приятель Чабана только усмехнулся и махнул рукой. А на прощанье сказал:

— Объяснять тебе долго, а вот пойдешь в бой и когда будешь из пушки стрелять, так хорошенько подумай, в кого стреляешь. Авось своих старых солдат человек восемь укоцаешь на месте.

И ушел. А Чабан возвратился на бронепоезд, где уже все было готово к отправлению. И до самого отхода рассматривал, недоумевая, румяных и воинственных мальчиков-вольноопределяющихся.

Эшелон гнали всю ночь. Ветер резал по крышам и в щели теплушек хлестал дождь. Лошади гремя подковами по доскам шарахались от блеска фонарей, стрелявших в глаза с полустанков. Начальник какого-то узла, задержавший поезд на три минуты, был расстрелян, и труп его был брошен в канаву. Никто не знал, по какой дороге гонят и почему так торопятся. Только в штабном вагоне, где толстые железнодорожные свечи в тяжелых медных подсвечниках прыгали по широкому ломберному столу, полковник в синей гимнастерке, положивший локти на расчерченную трехверстку и беспрерывно набивавший трубку, знал, в чем дело. Но лицо его было невозмутимо. Он быстро пробежал припухшими глазами телеграммы, которые ему подавал на каждой станции адъютант, покусывал кончик желтого карандаша и прихлебывал чай из мотающегося стакана.

Перед рассветом на каком-то полустанке пахла черная земля, похожая на кору дуба, пели жаворонки и зеленели озими. Бабы продавали в крынках молоко и девочки, замотанные как куклы, подымали к окнам вагона корзины с плациндами и пачки с махоркой, похожие на навоз. Потом поезд гнали дальше, и к полудню, задыхаясь как загнанная лошадь, визжащий, гремящий, потный, красный, он влетел на станцию, где почему-то он долго стоял, и опять никто не знал, почему он долго стоит и когда он тронется дальше. На станции и вокруг станции было пустынно, страшно тихо, незаметно было ни шума и движения вагонов, ни маневрирования поездов. Команда подождала пять минут, потом десять, потом час... и постепенно стала расходиться по путям, по стрелкам, в железнодорожный поселок. Вокруг становилось все тише и тише, и полковник вышел из вагона и прошел телеграфную контору, где долго просидел за телеграфным аппаратом, собственноручно что-то выстукивал и внимательно прочитывал ленту, длинной белой стружкой выползавшую из колеса. Потом он быстро ветал и выйдя на перрон, гаркнул: „Прислуга, по местам“ и велел отцепить бронепоезд от эшелона.

И только теперь все слышали те звуки, на которые никто раньше не обращал внимания и от которых вокруг было очень тихо. Это было легкое, звонкое и странное погромыхивание, похожее на удары пара, быстро вырывающегося из клапана. Через минуту поручик с биноклем кошкой карабкался на семафор, рвя перчатки и цепляясь

шпорами за ступеньки лестницы. Потом произошел какой-то переполох, и капитан командир поезда вывел из железнодорожного поселка белого и черного машиниста. Он держал револьвер, направленный в его затылок и кричал: „дезертир, сволочь, расстрелять“ и в следующую секунду спереди, оттуда, где слышались странные звуки, вылетело что-то невидимое, легкое и чуждое тому, что было вокруг, тело.

Обдало ветром, резнуло, свистнуло и прапорщик Чабан, надевавший штаны за полотном, видел, как из станционной крыши повалил черный дым и полетели щепки. За первой гранатой просвистала вторая и третья. Пехотинцы, приехавшие эшелонам, рассыпались в цепь. Лошади кавалеристов падали и ломали ноги. Казачий взвод, выехавший с правого фланга, был смят. Сотни людей, бегавших взад и вперед перед вагонами, под вагонами и за вагонами, кричали на разные голоса и на станции стоял пчелиный гул, но тех, которые наступали, видно еще не было, и от этого было еще страшнее.

— Телефонисты! Провод на пункт! Телефонисты! Прапорщик Чабан, чорт вас возьми,—кричал чей-то безумный голос. Но прапорщика Чабана, этого храброго офицера, видевшего смерть не один раз в глаза, охватил непонятный и неодолимый ужас. Бежать, бежать как можно скорей куда-нибудь подальше от боя. И он побежал. Ноги, не привыкшие к бегу, вязли в черной вспаханной земле. Свежий ветер свистал в ушах. Позади гремели разрывы и кричали поезда. А прапорщик Чабан бежал, напрягая все силы, и легкие готовы были лопнуть от воздуха, который напирал в раскрытый рот. Через десять минут он увидел себя одиноким в поле на бугре. Слева была станция с мелькающими игрушечными вагонами, движением, окутанная дымом. Справа лежало ровное, спокойное и светлое весеннее поле с голубыми кремлями облаков, птицами и солнцем. Редкие перелески светились лиственным мохом. Ярко блистало дно разбитой бутылки. А впереди по шахматным доскам полей, как рассыпанные бусы, катились цепи наступавшей пехоты. Там были пушки, разбрасывавшие белые облачки дыма, казачьи разезды, мигавшие звездами на кончиках шик. Шальная пуля ударилась в землю у его ног и долго в его ушах стояло пчелиное пенье. А сзади два казака, приветав на стремени, кричали страшными голосами и махали прикладами. Тогда прапорщик Чабан вытащил револьвер, поднял левую руку и выстрелил в нее в мякоть, повыше локтя. Выстрел обжег гимнастерку и рукав смок. Но боли он не почувствовал. Он бросил револьвер и побежал назад, прижимая раненую руку к боку и чувствуя рану так, как будто бы кто его ударил по мускулу железной палкой. Он бежал, но продолжал оставаться на месте в самом центре карусели, где все сильнее и сильнее начинали кружиться лошади, домики, облака и перелески.

Когда он очнулся, поезд метало, в глаза стреляли фонари полустанков, золотые шмели искр тучами неслись мимо вагона, ящики со снарядами стукались друг о друга и гремели, человек в белом халате с черными блестящими перчатками, еле держась на расставленных ногах, выжимал над лоханкой грязную тряпку, из которой текла бурая красноватая жидкость. Вокруг стонали люди. Их были десятки, сотни... Их было очень много. Рука горела, ныло плечо, и казалось, что эта боль, жар, текли из сердца. И сердце от этого становилось все слабее и падало. Радужные стрекозы, треща стеклянными крыльями, наполняли темноту. И только резкая желтая полоса заката, как бритва резала глаза.

Громадный красный солдат в зеленом шлеме с пятиугольной звездой пожимал руку рабочему в белом фартухе с молотом. Тяжелая цепь, разорванная пополам, лежала у их ног. Шафранное солнце вставало лучами-стрелами, выходило за ними и было написано: „красный октябрь—это—союз штыка и молота“, и надпись эта была такая, как будто это была не надпись, а голос студента в легком пальто, идущего по рельсам от водокачки.

И прапорщик Чабан никак не мог понять: где он это видел. Во сне ли, на станции ли или наяву. Боли в руке не было, и рука, мягко уложенная в лубок, сладко отдыхала. Сверху был большой белый потолок, а у изголовья разговаривали два голоса—мужской и женский. Мужской спрашивал:

— А это?

Женский отвечал:

— Раненый прапорщик.

— Фамилия?

— Чабан.

— Поправляется?

— Теперь поправляется, а раньше был плох. Жар, бред. Думали, придется резать руку. Все время кричал: „не хочу по своим стрелять. Почему они воют?“.

— Социальное положение?

— Студент крестьянин.

— Пришлите ему литературы, пусть читает. Позабористей.

— Будет исполнено, товарищ военком.

Валентин Катаев.

ИГРА В ПЛАХУ.

ТРАГИ-КОМЕДИЯ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

(в порядке появления).

ДАМА.

КАВАЛЕР.

ШУТ.

ТИБУРЦИЙ—ПРИДВОРНЫЙ.

ГАНИМЕД—ГЛАВНЫЙ АКТЕР.

БАРТОЛОМЕЙ—АКТЕР.

ЭНДРЮ—АКТЕР.

КОРОЛЬ.

1-й САНОВНИК.

2-й САНОВНИК.

МИНИСТР ДВОРА.

ПАЛАЧ.

Эпоха здесь вымышленная и будет ошибкой одевать актеров согласно романтическим наименованиям их. О внешнем виде характерных персонажей автор делает следующие указания:

Король—лысеющий, полный, в цветистом халате и туфлях. Ганимед—главный актер—в костюме арлекина. Палач—в сюртуке, цилиндре и перчатках. Общий колорит таков, как если бы событие пьесы разворачивалось в большой столице страны, где монархия доживает последние дни, где на ряду с великолепием—нищета, где этой нищеты боятся как призраков только ночью, где извращенность об руку с деспотизмом—достигли гибельной высоты Ассирии и Карфагена.

Приступая к постановке этой пьесы режиссер должен вспомнить Карфаген перед падением, утопические социальные города будущего, величественные, сияющие белизной углы, фронтоны грандиозных зданий, порты южных морей с разноцветными людьми, плодами, боченками, парусами над радужной водой и думая о той площади, где шумит действующая в пьесе толпа, вообразить древний рынок с воинственной аркой, у которой лежит в пыли нищий и поедает дынные корки.

Сцена представляет плоскую кровлю одного из флигелей королевского дворца.

Вдоль заднего плана—каменный барьер с цоколями и фигурными возвышениями. На первом плане, над рампой, слева и справа по две простых колонны.

Задний план—синевя неба. Внизу за барьером—невидные зрителю—площадь, набережная, вдали море и торговые корабли. Лето. Яркий солнечный день к полудню.

ЯВЛЕНИЕ 1.

Дама и кавалер проходят вдоль барьера.

ДАМА.

Мы видели вчера: туда бежал народ,
С восхода торопясь, забывши о ночлеге,
Чтоб лучше рассмотреть, как повезут в телеге
Военачальника на смерть, на эшафот....
Там плаха—видите. И там его казнили—
Главой отрубленной размахивал палач....
Смотреть—глаза болят от ветра, солнца, пыли—
Ужасный день: жара, проклятья, женский плач.

КАВАЛЕР.

О, бедная моя!

ДАМА.

Он казни был достоин:
Восстать—подумайте, противу короля.
Начальник войск страны, когда то верный воин,
С прославленных знамен срывает вензеля
Его величества.

КАВАЛЕР.

Вы сердитесь, Лильяна.
Как счастлив наш король, коль защищает рьяно
Династию его и честь его знамен
Такая женщина. Мой друг, я в вас влюблен.
(Уходят).

ЯВЛЕНИЕ 2.

ШУТ (перебегая через сцену).

Хо. Будет весело. Хо будет очень славно.
Король, готовится искусная игра.
(Исчезает).

ЯВЛЕНИЕ 3.

ТИБУРЦИЙ (озабоченно).

Куда он убежал: он служит неисправно.
Ведь отдал я приказ собраться всем с утра.
Мы нынче ждем у нас прославленных актеров,
Актеров с острова. Король наш театрал,
И вот наслушавшись немало разговоров,
О славной их игре—он их к себе призвал.
Мы ждем их от утра, от короля секретно
Они придут к нам, и королю сюрприз.
Но что же не идут. Не поглядеть ли вниз?
(Смотрит через барьер).
Торговки, нищие,—актеров незаметно.

ЯВЛЕНИЕ 4.

Входят Ганимед, Эндрю, Бартоломей.

ТИБУРЦИЙ

А! Вот они пришли. Привет Вам, господа.

ГАНИМЕД (кланяясь)

Благодарим. Мы в срок?

ТИБУРЦИЙ

О, даже раньше срока.

ГАНИМЕД.

Боялись опоздать.

БАРТОЛОМЕЙ.

Нам ко двору далеко.

ГАНИМЕД.

Заставы на пути.

ЭНДРЮ.

Пройти не без труда.

ТИБУРЦИЙ.

А вы мне правитесь. У вас открытые лица
И ясные глаза.

ГАНИМЕД.

Мы любим веселиться.

ТИБУРЦИЙ.

Все это хорошо—у нас скучают тут.
Как вас зовут?

ЭНДРЮ.

Эндрю.

БАРТОЛОМЕЙ.

Бартоломей

ГАНИМЕД.

И Ганимед.

ТИБУРЦИЙ.

Прекрасно.

Его величество, я верю, будет рад.

ГАНИМЕД (который, усевшись на барьер и
поглядев, вниз испугался).

Ах! Боже мой! Ай-ай!

ТИБУРЦИЙ.

Что с вами?

ГАНИМЕД.

Ах, ужасно.

Как испугался я случайно бросив взгляд
На площадь—все туда... ф-фу, я дрожу от страха.

ТИБУРЦИЙ.

Что с вами, милый друг?

ГАНИМЕД.

Мне показалось... ах, как будто там вот плаха.

ТИБУРЦИЙ.

Какие глупости, к чему такой испуг?
Да, плаха, ну так что ж. В столице беспорядки.
И мы решили быть решительным и кратки:
Без милости казнить

ГАНИМЕД.

Казнить?

БАРТОЛОМЕЙ.

Казнить?

ТИБУРЦИЙ.

Ну, да, всех недовольных.

ГАНИМЕД.

Чем?

ТИБУРЦИЙ.

Чем? Королевской властью.

ГАНИМЕД.

Такие разве есть?

ТИБУРЦИЙ.

И много их к несчастью.

О, как наивны вы.

ГАНИМЕД.

Мы в стороне всегда.

ТИБУРЦИЙ.

На этой плахе там вчера по приговору
Верховного суда был предан смерти Тит.

АКТЕРЫ (в один голос)

Военачальник Тит...

ТИБУРЦИЙ.

Разбойнику и вору

Народ плевал в лицо—великолепный вид.

ГАНИМЕД.

Военачальник Тит казнен на этой плахе!

БАРТОЛОМЕЙ.

Военачальник Тит!

ЭНДРЮ.

Военачальник Тит!

ТИБУРЦИЙ.

Я видел голову и кровь в пыли и прахе
Мятеж подавлен был и на корню убит.

ГАНИМЕД.

О, Господи...

ЭНДРЮ.

Мятеж...

ТИБУРЦИЙ.

Был заговор в таверне
Средь оружейников—мы думали—пустяк,
А оказалось что? Развили красный флаг
И поднялись на нас за власть рабов и черни
Три тысячи солдат—шахтеры, моряки,
На знамени девиз: „И рудокопу солнце“.
Король встревожился, но помогли червонцы
И преданные, верные стрелки...
Подумайти, ха-ха! Девиз: „Вся власть рабочим“.

ГАНИМЕД.

Неосновательно.

ЭНДРЮ.

Ужасно.

БАРТОЛОМЕЙ.

И смешно!

ТИБУРЦИЙ.

Над этим при дворе мы до сих пор хохочем,
Когда здоров король и славное вино.
Военачальник Тит нас посмешил отлично,
Ведь он хотел, ха-ха—дворцовые луга
Дать детям бедняков.

ГАНИМЕД.

Ужасно.

БАРТОЛОМЕЙ.

Неприлично!

ТИБУРЦИЙ.

Все ткани, золото, рубины, жемчуга,
И все сокровища короны нашей древней
Раздать по мастерским, в приюты и деревни,
Создать республику, освободить народ.
Ну можно ли еще придумать безобразней,
Зато на площади—глядите: эшафот—
Вчера случилась казнь и завтра будут казни.

ГАНИМЕД.

А для чего они.

ТИБУРЦИЙ.

Чтобы пример подать...
Зараза расползалась—мы член больной отрубим,
Немного—сто голов. Ведь мы народ свой любим
И быть жестокими—нам право не подстать.

ГАНИМЕД.

А обойтись нельзя?

ТИБУРЦИЙ.

Нет, надобно бороться...
Народ волнуется и в парках городских
Швыряют бомбы.

АКТЕРЫ.

Ах!...

ТИБУРЦИЙ.

Бросают яд в колодцы,
Вею ночь собрания в порту и в мастерских.

ГАНИМЕД.

Ах, Боже мой!

ТИБУРЦИЙ (презрительно).

Пустяк, не знаем мы боязни.
Мы будем их казнить, уничтожать, как моль...

ГАНИМЕД.

А кто ж приговорен сегодня к новой казни?

ЯВЛЕНИЕ 5.

ШУТ (перебегая через сцену).

Его величество король...

ЯВЛЕНИЕ 6.

Те же без шута, король и два сановника.

КОРОЛЬ (входя).

Ах, только не сюда!

(Указывает рукой на барьер).

Там площадь, люди, взоры!

(Актеры падают ниц).

ТИБУРЦИЙ.

Прошу вас, государь.

КОРОЛЬ.

Что хочешь. Поскорей!

ТИБУРЦИЙ.

Когда угодно вам, здесь с острова актеры—
Их трое... (актеры поднимаются).

ГАНИМЕД.

Ганимед.

ЭНДРЮ.

Эндрю.

БАРТОЛОМЕЙ.

Бартоломей.

КОРОЛЬ (весело).

А! Здравствуйте, друзья... Чтож-очень интересно...

Игре подобна власть: король играть привык.

О! Я люблю театр—и это всем известно.

Я сам слегка актер.

1-й САНОВНИК (поднимая палец).

Как скромн!

2-й САНОВНИК (та же игра).

Как велик!

КОРОЛЬ.

Вы значит с острова, о, мы о вас слыхали.

ГАНИМЕД (извиваясь).

Король, мы счастливы и ваша похвала
Для нас особенно мила:
Ведь вы большой артист, не лучше всех едва-ли.

ТИБУРЦИЙ.

О! Наш король артист.

1-й САНОВНИК.

Превыше всех похвал.

КОРОЛЬ (резонерствуя).

Игра нам отдыхом, а труд для нас—игрою
Не правда-ли друзья?

1-й САНОВНИК.

Как только он сказал...

КОРОЛЬ (впадая в сценический тон).

И в жизни, может быть, искусней мы порою
Чем в лицедействии—неправда ли друзья?
Кто был актер в душе, тот в король нарочно—
Когда бы не игра, то дурно б правил я,
Не правда ли друзья?

1-й САНОВНИК.

Как истинно!

2-й САНОВНИК.

Как точно!

КОРОЛЬ.

Итак, когда ж спектакль? сегодня ввечеру?
Тибурций, слышите? оповестить двору.
Побольше пригласить веселого народа,
Украсить пышно зал, как некогда, как встарь...

ГАНИМЕД.

Одну минуточку. Простите, государь.
К чему нам зрители?—У нас не та метода,
Ведь мы особенно всегда ведем игру...
Без грима, без огней, и нам не нужен зритель...
Да кроме этого пришли мы ко двору
Играть лишь только вам—ведь вы один ценитель.

КОРОЛЬ.

Прошу вас повторить... Без грима. Без огней.
Неточно понял я.

ГАНИМЕД.

Мы так играем трое:

Я—Ганимед.

ЭНДРЮ.

Эндрю.

БАРТОЛОМЕЙ.

Бартоломей...

ГАНИМЕД.

Без заданных ролей, задание любое
Дается тема нам, и мы плетем сюжет,
Мы втягиваем всех в движение нашей пьесы
Случайных зрителей—кто хочет или нет—
И мы среди публики, без рампы, без завесы...
У нас играют все: для всех найдется роль,
Воображайте лишь—не надевая маски,
И право, все равно, где клоун, где король:
Игра сама придет к эффектнейшей развязке.

КОРОЛЬ (заинтересовавшись).

Весьма доволен я. Вы, господин актер,
Мне очень нравитесь.

ГАНИМЕД (сугубо почтительно).

О! Что вы, разве стоит?
Играть пред вами—о, мечтал я с давних пор,
Но лишь один пустяк меня чуть беспокоит.

КОРОЛЬ.

Прошу вас говорить.

ГАНИМЕД.

Игре препятствий нет.

Неправда-ли?

КОРОЛЬ.

О, да.

ГАНИМЕД.

Мое предупреждение,
Что может быть в игре нарушен этикет:
Допустим жест такой, улыбка, выраженье...

КОРОЛЬ.

Конечно же.

ГАНИМЕД.

Ну, вот, теперь свободен я,
А то мне думалось—не так взмахну рукою,
Не этак выражусь—и завтра же меня
Как Тита, разлучат с несчастной головою...

КОРОЛЬ (поморщившись недовольно).

А...

ТИБУРЦИЙ (отшатываясь).

Что он?

САНОВНИКИ (закрывая лицо руками).

Ф-фу...

ТИБУРЦИЙ (строго).

Вы, господин актер,
Позволили себе...

ГАНИМЕД (весело и звонко).

Но мне король позволил.
Уже играю я. Забыт король и двор,
Все перенуталось, у всех другие роли...

ТИБУРЦИЙ.

Однако!

1-й САНОВНИК.

Д-да...

2-й САНОВНИК.

Угм-м...

КОРОЛЬ.

Что испугало их?
Чего боитесь вы? Что здесь называли Тита?
Я не боюсь имен, тем боле—неживых,
Прошу вас, господа, игра идет открыто...
Ну, господин актер, теперь я понял вас,
Идея чудная—начнемте же сейчас...
Но почему молчат другие два актера.

ГАНИМЕД.

О, добрый государь. Пусть срок для них придет.
Они пока молчат, как и молчит народ,
Который все таки заговорит и скоро.
(В группе сановников и Тибурция переполох).

ТИБУРЦИЙ.

Однако...

1-й САНОВНИК.

Чорт возьми...

2-й САНОВНИК.

Развязность выше мер.

ТИБУРЦИЙ.

Ну, господин актер!

1-й САНОВНИК

Уже второй пример.

КОРОЛЬ.

Оставьте, господа. Ну право, очень странно.
Чего боитесь вы? „Народ заговорит“.
Не бойтесь: он молчит.

(Отдаленный крик с площади: „Долой, долой тирана“)...

КОРОЛЬ (испуганно).

Кто это закричал? (придя в себя начальственно)
Узнайте, кто кричит.

ТИБУРЦИЙ (перепуганно).

Кричали с площади.

Сенаторы жмутся к колоннам. Бартоломей, прикинув к барьеру, смотрит вниз на рынок.

БАРТОЛОМЕЙ.

Отеюда виден рынок.
Там бочки, и плоды и листья из корзинок,
И множество людей, идут вперед, назад...
Толпятся, смотрят вверх и кулаком грозят...
Глупцы! Они меня за короля приняли.

ТИБУРЦИЙ.

Опять!

БАРТОЛОМЕЙ.

Игра...

ЭНДРЮ.

Игра...

БАРТОЛОМЕЙ.

Они и закричали...
Но скачут всадники: четыре, пять, шесть, семь...
Их шляпы с перьями, лицо чернее сажи—
Толпа—в проулочки, рассеялась совсем...

КОРОЛЬ (внимательно слушает актера).

Ага, мятежники! Моей боятся стражи...
Но будем продолжать. Прошу вас господа,
Не беспокоиться: ансамбль пусть будет строен.
Что в этом страшного? Кричат—и не беда:
Спокойней будьте все, когда король спокоен.
Ведь плаха там стоит?

ГАНИМЕД.

А в плахе весь секрет!

ТИБУРЦИЙ.

О, плаха главное!

КОРОЛЬ.

И раз она на месте—
Для страха и тревог у нас причины нет.
Прошу вас всех сюда—мы поиграем вместе.
Итак... начнемте же. Я жду и весь горю.

ГАНИМЕД (восхищенно).

О, вы большой артист!

ЭНДРЮ и БАРТОЛОМЕЙ.

Артист...

КОРОЛЬ (как бенефициант).

Благодарю.

ГАНИМЕД (оживленно, раздраженно)

Но я хочу узнать, что любите вы боле,
Какой репертуар для ваших нужд и сил?

КОРОЛЬ.

Как? Не слышали вы?—Трагические роли,
И мой репертуар: Шекспир, Софокл, Эсхил.

ГАНИМЕД.

Прекрасно! Что же взять из жизни повседневной—
Из жизни нынешней такое, что лежит,
Всех боле к сердцу вам по страсти сильной, гневной?
Ага! Придумал я. Военачальник Тит!

КОРОЛЬ, ТИБУРЦИЙ и САНОВНИКИ (в один голос).
Военачальник Тит!..

ГАНИМЕД.

Прекрасно!..

ЭНДРЮ и БАРТОЛОМЕЙ

Браво, браво!..

ГАНИМЕД.

Ваше величество, ведь лучше роли нет.
Ну что вы скажете, великолепно право...
Подумайте, какой трагический сюжет!
Мятеж, восстание, трибуна, диктатура,
Освобождаемый народ.

1-й САНОВНИК.

Хм-м, преступление.

2-й САНОВНИК.

Хм-м, просто авантюра.

ГАНИМЕД.

Воззвания, борьба и эшафот.

КОРОЛЬ.

Д-да, занимательно.

ГАНИМЕД

Все тонко перевито.

БАРТОЛОМЕЙ.

Сценичность какова?

ЭНДРЮ.

Брут!

ГАНИМЕД.

Прометей!

БАРТОЛОМЕЙ.

Эдип!

ГАНИМЕД (льстиво, вкрадчиво).

Но я хочу узнать, что любите вы боле,
Какой репертуар для ваших нужен сил?

КОРОЛЬ.

Как? Не слышали вы?—Трагические роли,
И мой репертуар: Шекспир, Софокл, Эсхил.

ГАНИМЕД.

Прекрасно! Что же взять из жизни повседневной—
Из жизни нынешней такое, что лежит,
Всех боле к сердцу вам по страсти сильной, гневной?
Ага! Придумал я. Военачальник Тит!

КОРОЛЬ, ТИБУРЦИЙ и САНОВНИКИ (в один голос).
Военачальник Тит!..

ГАНИМЕД.

Прекрасно!..

ЭНДРЮ и БАРТОЛОМЕЙ

Браво, браво!..

ГАНИМЕД.

Ваше величество, ведь лучше роли нет.
Ну что вы скажете, великолепно право....
Подумайте, какой трагический сюжет!
Мятеж, восстание, трибуна, диктатура,
Освобождаемый народ.

1-й САНОВНИК.

Хм-м, преступление.

2-й САНОВНИК.

Хм-м, просто авантюра.

ГАНИМЕД.

Воззвания, борьба и эшафот.

КОРОЛЬ.

Д-да, занимательно.

ГАНИМЕД

Все тонко перевито.

БАРТОЛОМЕЙ.

Сценичность какова?

ЭНДРЮ.

Брут!

ГАНИМЕД.

Прометей!

БАРТОЛОМЕЙ.

Эдип!

ГАНИМЕД.

И жалко. Эта роль попала в руки Тита.
Ведь у него в руках весь матерьял погиб...

КОРОЛЬ.

Да, роль испортил он. Куда сыграть солдату,
Солдату грубому такую роль.—Увы!
Не справился он с ней, но и понес расплату,
За скверную игру, лишившись головы.

ГАНИМЕД.

Вы полагаете?—Ведь вы такой ценитель—
Он скверно роль провел?

КОРОЛЬ.

О, да! Печальный вид:
Он победить хотел—но не был победитель.

Крик с площади:

Да здравствует военачальник Тит.

ТИБУРЦИЙ.

Опять они кричат!

ГАНИМЕД.

И там игра ведется.

1-й САНОВНИК.

Игра с огнем.

ГАНИМЕД.

Пускай! „Играет целый мир“.
Вы помните, король, так говорил Шекспир.
Да, роль мятежника легко не удается.
Тит провалил ее, и был в награду свист,
Свист топора.

ТИБУРЦИЙ.

Ха-ха..

ГАНИМЕД.

А вы сумели-б право

Сыграть ее.

КОРОЛЬ (кокетничая).

Да что!

ГАНИМЕД.

Ведь вы большой артист.

ТИБУРЦИЙ.

Король—большой артист.

ЭНДРЮ.

О, браво, браво, браво!...

ГАНИМЕД.

Попробуйте сыграть.

1-й САНОВНИК.

Он видно не в уме!

КОРОЛЬ.

Ну что-ж, попробую....

БАРТОЛОМЕЙ (подбегая близко к барьеру кричит по направлению площади).

Начало представленья.

ЯВЛЕНИЕ 7.

Те же и министр Двора.

КОРОЛЬ (недовольно).

Что нужно?

МИНИСТР.

Государь, народ идет к тюрьме,
И ваша гвардия потерпит поражение,
Народ на площади—опасность для двора.

КОРОЛЬ.

Я не боюсь, мой друг. Все это сплетни, бредни.
Вы нам мешаете—здесь началась игра.

ГАНИМЕД.

Играем первый, акт.

БАРТОЛОМЕЙ.

И первый и последний.

МИНИСТР.

Но, государь—народ, но в зале весь совет.

КОРОЛЬ (брюзжа).

Народ, дела, совет... От дел вы стали лысы.
А я—я не король: я принц, артист, поэт.
Вы посторонний здесь—уйдите за кулисы.

(Министр уходит).

ЯВЛЕНИЕ 8.

КОРОЛЬ.

И так я приступаю.

ГАНИМЕД.

Простите.

КОРОЛЬ.

Поскорей!

ГАНИМЕД.

Я передумал.

КОРОЛЬ.

Что?

ГАНИМЕД.

Всем роль нужна трудней,
Что Тит для вас? Пустяк! Обычный слепок Брута.
Другие мелочи—играть не все равно-ль?
А я вам предложу игру иного рода:
Сыграйте короля, сыграйте вашу роль—
Роль короля, что в плен попался вдруг народу.

БАРТОЛОМЕЙ.

Великолепно!

ЭНДРЮ.

Ах!

ТИБУРЦИЙ.

О, что он говорит!

1-й САНОВНИК.

Он преступил закон.

2-й САНОВНИК.

Он обезглавлен будет.

ГАНИМЕД.

Допустим, победил военачальник Тит.
И вы попались в плен—теперь народ вас судит....

КОРОЛЬ.

Ага! Я понял вас. Вот это роль по мне!

ГАНИМЕД (громко).

Так началась игра. Я разыграю Тита.

Он бежит через сцену, прыгает на барьер и кричит оттуда. Сановники и Тибурций в страхе отступают к колоннам. С этого момента шум толпы на площади внизу у дворца перестает.

ГАНИМЕД.

Ура! Низвержен трон. Столица вся в огне.
С преступной головы корона ловко сбита. (Аффективно играя)
Тащите же его за волосы сюда. (Деловито),
Играйте же, король!

КОРОЛЬ (не освоившись с положением).

Ну что же, я играю.

ГАНИМЕД.

Народ, ты правишь сам теперь от края к краю,
Ты избран судьей для страшного суда.
Тащите короля!

(Эндрю и Бартоломей хватают короля и хотят его бросить к ногам Ганимеда. Король, играя, упирается).

КОРОЛЬ.

Рабы не прикасайтесь.

ГАНИМЕД.

Я увидеть хочу, как ужас по лицу
Как язва поползет.... Идите ко дворцу.
Король у нас в плену. Кричите, издевайтесь!

1-й САНОВНИК.

Куда бы спрятаться, а то потащат нас?...

КОРОЛЬ (входя в роль).

Народ—восставший раб! Или бессильна плетка,
Чтоб отхлестать тебя. Ты грязный, вьючный мул.
Тащи свое ярмо безропотно и кротко!..

ГАНИМЕД.

Ты ослеплен, ты пьян! Ты бредишь, ты уснул!
Смотри: поднялся мир. Смотри: из черной шахты
Поднялся рудокон, идут со всех сторон
Заводы, фабрики... Построил сотни плах ты,
Ты сто голов отсек—их стало миллион.
Долой тирана!...

БАРТОЛОМЕЙ.

Смерть!

ЭНДРЮ.

Смерть королю!

ГАНИМЕД.

Победа.

На трудовых плечах сидел ты сотни лет,
Но время пробило—теперь держи ответ
За память пращура, за грех отца и деда.

КОРОЛЬ (жалобно).

О, бедный мой народ. Ты добр, наивен, чист,
Власть королевская—твой мир, порядок—слава,
Но ты обманут был.

ГАНИМЕД.

Король—большой артист.

ЭНДРЮ.

Прекрасная игра!

БАРТОЛОМЕЙ.

О! браво, браво, браво!

КОРОЛЬ.

Неправда-ль, хорошо?

ГАНИМЕД.

Превыше всех похвал.

БАРТОЛОМЕЙ.

Какой прекрасный тон!

ГАНИМЕД.

Но дальше продолжаем
(Переходя снова на героический тон).

Кузнец, шахтер, батрак отныне правят краем,
Все отдадут поля тому, кто их пахал,
Сады для отдыха тому, кто полуголый
В поту, дыму, в огне работал день и ночь,
А богачей—в подвал от света, солнца прочь,
И белые дворцы мы перестроим в школы.

КОРОЛЬ (гордо).

Кто это говорит, ты живший словно крот,
Ты будешь управлять, ты, солнца не выдавший!
Власть Богом дадена—и он ее мне давший
Со смертью моей лишь он ее возьмет.

ГАНИМЕД.

Стань на колени. Ну!

1-й САНОВНИК (у колоны).

О, Господи, что будет?

2-й САНОВНИК.

Король увлекся.

(Шум все громче).

1-й САНОВНИК.

Внизу шумит народ.

ТИБУРЦИЙ.

Д-да...

ГАНИМЕД.

Я—смерть. Я—твой народ. В моем лице он судит
Тебя и власть твою. Я суд и эшафот.

БАРТОЛОМЕЙ (на барьере кричит вниз).

Король перед судом.

Крик с площади: „Да здравствует король“!

ТИБУРЦИЙ.

Вы слышите?

КОРОЛЬ.

Кричат.

ГАНИМЕД.

Ведь это постановка.

И там актеры все: я все обставил ловко
Играем мы, и там внизу идет игра—
Но скоро занавес—и нам кончать пора.
Мы знаем приговор. Возмездие! Расплата!
Народный суд суров. Я говорю тебе:
За сотни тяжких лет, за смерть сестры и брата
От яда фабрики, в дыму, в земле, в борьбе
Ты отвечаешь.

БОРТОЛОМЕЙ и ЭНДРЮ.

Смерть!...

ГАНИМЕД.

И бледные ткачи,
Что выткали тебе иссохшими руками
Литую мантию, атласные плащи
Красавицам твоим—сегодня судят с нами.
Вот видишь их, идут: и черный рудокоп,
Ослепший под землей, чтоб твой украсить лоб
Рубином редкостным и негр, что стал собакой,
Под палкой сторожа, чтоб вырастить плоды
Для брюха твоего... И знай, что их труды
Уравновесятся твоей головой.

ТИБУРЦИЙ (уже готовый к бегству).

Однако!

ГАНИМЕД.

Так слушай-же, молчи. Здесь наше торжество,
Народ свободным стал, трудиться жить и править,
Судить и миловать. И слушай суд его—
Тирану плаха...

БАРТОЛОМЕЙ.

Смерть!

ЭНДРЮ.

Тирана обезглавить!

КОРОЛЬ.

Что? Короля убить, преступные вожди?

ГАНИМЕД.

Тащите же его! Ты побледнел от страха.
Ты видишь призраки. Ты мечешься. Гляди:
Здесь суд свершится твой, здесь эшафот и плаха.
(Указывает на высокий цоколь барьера).

КОРОЛЬ.

Что-ж, я иду на смерть. Не опущу лица,
Как против варваров шли предки в дни былые,
Я гибну с высоты, как Рим, как Византия,
В сиянии своего конца.

ГАНИМЕД (деловым тоном).

Одну минуточку. Для истинности вящей
Необходим палач. Палач—и настоящий.

КОРОЛЬ.

Вы правы! (хлопает в ладоши)

Эй, позвать немедленно палача!

ГАНИМЕД.

Сейчас придет палач. Последний раз секира
На эту голову опустится с плеча,
И плаху мы сожжем: мы алчем только мира,
Мы крови не хотим, нам нужен смех, не плач!
С последней головой корона будет сбита.

ЯВЛЕНИЕ 9.

Палач входит в черном, наглухо закрытом сюртуке, перчатках, цилиндре, с секирой. Стоит выжидательно.

ТИБУРЦИЙ (бросается в ужасе за колонны при виде палача).

Ай-ай!

САНОВНИК (бросается за ним).

Бежим, бежим!

(Исчезают).

ЯВЛЕНИЕ 10.

Те же без Тибурция и сановников.

КОРОЛЬ (медленно).

Так это вот палач?

Эффектен... Это вы вчера казнили Тита?

ПАЛАЧ.

Исполнил ваш приказ.

КОРОЛЬ.

А это трудно вам?

Вот... головы рубить.

ПАЛАЧ.

Что-ж с вами пополам:

Я топором рублю, а вы,—вы приговором.

КОРОЛЬ.

А много-ли голов срубили вы за год?

ПАЛАЧ.

Пятьсот—мятежникам, а там убийцам, ворам.
Всего голов семьсот.

КОРОЛЬ.

Так, значит, я семьсот

Приговорил их к смерти?

ПАЛАЧ.

О, нет. Поболее. Сверх тысячи, поверьте;
Тем скрыться удалось, пока пришла пора,
Да по пути на казнь толпа убила с двести,
А часть их умерла на самом лобном месте,
От страха и тоски не ждавши топора.

КОРОЛЬ.

Однако, мрачный счет!

ГАНИМЕД.

Но дальше продолжаем.

Не отвлекайтесь же. Короче разговор!

КОРОЛЬ.

Да, да...

ГАНИМЕД. (К палачу).

Все шутки мы играем. (Торжественно, играя)
Палач, готов ли ваш карающий топор?
Сегодня сам народ зовет вас к эшафоту.
Вот видите, король! Он на смерть осужден.
Вам нужно совершить почетную работу...
Пришел последний час... Народ, ты отомщен.

КОРОЛЬ.

О, бедный мой народ! Ты ослеплен навеки —
В застенки пойман я. Кто мне закроет веки?
Я жертва, мученик.

ГАНИМЕД.

Последний час настал.
Клади же голову (к палачу). А вас прошу к работе.
Нет, нет. Прошу назад. Ведь вы профессионал:
Вдруг увлечетесь вы, и вдруг вы отсечете
Святую голову на трепезу для птиц.
Отдайте мне топор!

(Выхватывает секиру из рук палача).

Ведь мы играем в плаху.

Мы притворяемся, но держимся границ.
Я буду палачом, остановясь с размаху,
В решительный момент! Вершится страшный суд.
Меня народ избрал быть палачом тирана,
Что снилось искони, то совершится тут,
Над этой площадью и над толпою рьяной,
Что ждет главу твою.

КОРОЛЬ (который положил голову на доколь барьера
спиною к зрителям, поворачивает лицо).

О, господин актер,

Испытываю я мучительные чувства
Того, кто над собой уж увидал топор,—
Всю смертную тоску,—вот чудеса искусства!

ГАНИМЕД (вскочив с топором на барьер,
над головою короля).

Эй, замолчи тиран!

КОРОЛЬ.

Я за народ умру.

ГАНИМЕД.

Ложись ровней,—вот так!

(Заносит топор над головою короля).

БАРТОЛОМЕЙ (кричит с барьера толпе).

Король на эшафоте...

КОРОЛЬ (естественным тоном).

А может быть пора нам прекратить игру
Не-то, мой дорогой,—вы далеко зайдете.

ГАНИМЕД.

Молчи, тиран!

(Отрубает королю голову. Тело его лежащее спиной к публике, в цветном халате, вздрагивает. Отсеченной головы не видно, но падение ее на площадь знаменуется криком толпы).

БАРТОЛОМЕЙ.

Вот так!

ПАЛАЧ.

Убит король, король...

(Исчезает за колоннами)

ЯВЛЕНИЕ 11.

Те же без палача.

ЭНДРЮ.

Отлично! Сделано. Ты вел прекрасно роль.

Глупец—попался он в твою простую пряжу...

(Все трое, держась за руки, стоят на барьере, полуоборотясь к зрителю, на фоне синееющего неба. Внизу ревет толпа).

ГАНИМЕД (кричит толпе).

Упала голова, как перезрелый плод.

Наденьте на копье, повесьте у ворот.

Входите во дворец! Спешите! Бейте стражу!

Казнен король. Казнен! Да здравствует народ...

З А Н А В Е С.

20 июня 1921 года
Харьков.

Юрий Олеша.

ДЖИММИ ХИГГИНС.

Американский писатель Уиттон Синклер, известный европейскому читателю как автор плакатно-изобличительных социальных романов, создал в своем последнем произведении,—романе „Джимми Хиггине“ большую поэму об обыденном человеке, человеке юдоли, восстающем против несправедливости. Поэма о пути к социальной революции в Америке „Джимми Хиггине“ Уиттоном Синклера принадлежит к самым мощным гуманным произведениям мирового искусства литературы. Ни одно современное произведение не сочетает в себе такой гармонии между преданностью идее и ясновидящим глазом и любящей творческой рукою художника.

По словам В. Фриче, действие первой части романа происходит в американском городе Лисвилль, где социалистическая партия, считаясь с возможностью вовлечения Америки в империалистическую войну, устраивает митинг, на который приглашен в качестве оратора кандидат, выдвигаемый партией на пост президента. Все почти хлопоты по устройству митинга выпали—как всегда—на долю скромного, немного наивного, но преданнейшего члена партии—Джимми Хиггине. Проголодавшись, Джимми заходит в кофейню, где случайно встречает приглашенного оратора, в котором нетрудно узнать портрет упрямца, танного в тюрьму „демократическим“ правительством Америки Деббса. Деббс (хотя он и не назван по имени) приглашает Джимми прогуляться и высказаться, и, дорогою на его предложение, тот рассказывает свою историю, историю не „интеллигента“, примкнувшего к социализму, не „вождя“, а самого обыкновенного дюжинного рядового, одного из тех, на плечах которых покоится живучесть и непобедимость пролетарского движения.

Отец его—безработный—бросил семью еще до рождения Джимми. Мать умерла, когда ему было три года. Говорила она на каком-то иностранном языке,—на каком, он не помнит. Девяти лет он поступил на лесопильню, где работать приходилось 16 часов в сутки и где его нещадно колотили. Он не выдержал и сбежал. В продолжении десяти лет он был босяком. В конце концов он кое-чему научился, и вот он работает на машинном заводе. Он женат. Женился он на девушке из дома терпимости, которая была не прочь покончить со своим позорным ремеслом. У него двое ребят.

— А как вы стали социалистом?

Это произошло как-то само собой. На заводе был парень, с утра болтавший о политике. Сначала Джимми сторонился его. „Политика“ казалась ему не более, как средством щеголять в крахмаленых воротничках и жить за счет рабочих. Потом он задумался, а когда потерял работу, то стал почитывать. И вот он понял, что вне социализма для рабочего нет спасенья. Это было три года назад.

— И вы не потеряли своей веры?

Нет. Что бы ни случилось, он будет работать и впредь для освобождения пролетариата. Может быть, сам он и не доживет до этого времени, зато дети его будут в этом отношении счастливее, а для счастья своих детей всякий готов работать, как вол.

Вся жизнь „рядового“ Джимми, „массовика“ Джимми, рассказанная в романе Синклера, вплоть до его мученического конца—яркое подтверждение этих слов. И даже, когда его дети погибли во время взрыва порохового завода, он, когда перегорели в его сердце ужас и скорбь, знал только одну задачу, одну цель, один идеал—бороться, страдать и умереть за дело своего класса.

Как подлинный социалист, Джимми прекрасно понимает (или вернее чувствует своим пролетарским нутром), что война затеяна капиталистами ради империалистических целей и что американскому рабочему нет никакого осно-

вания становиться на сторону какой-нибудь из конкурирующих и борющихся коалиций. Он поэтому участвует во всех мероприятиях местного комитета социалистической партии, имеющих целью помешать вовлечению Америки в мировую войну. Однако, события складываются так, что из противника войны Джимми постепенно и как-то незаметно для себя превращается в ее сторонника. Некоторую роль в этом превращении ярого антимилитариста в идейного, а потом и в фактического соратника союзников сыграло то обстоятельство, что, с одной стороны, местный комитет партии получил деньги на издание боевого антивоенного органа, сам того не подозревая, от агента германского императора, а с другой стороны сам Джимми работал одно время в предприятии, принадлежавшем немцу, тоже оказавшемуся германским агентом-шпионом. Хотя Джимми и был противником войны, но быть сотрудником и помощником кайзера он вовсе не намеревался. К этому присоединилось неприязненное отношение к Германии после нарушения нейтралитета Бельгии и потопления „Лузитании“. Окончательно же толкнуло его на путь воинственности позорная политика германских социал-демократов по отношению к Советской России, к большевистскому правительству.

Как ни интересна первая часть романа Синклера в смысле разрисовки психологии рядового американского пролетария-массовика, ощутую бродящего в потемках отравленной империализмом атмосферы, где почти единственной для него путеводной нитью является его здоровый пролетарский инстинкт, для нас особенное значение имеет вторая половина романа, где выпукло обрисовано симпатическое отношение к октябрьской революции и к русскому большевизму со стороны американского рабочего-социалиста.

**Действие, происходит в период занятия Архангельска
американской оккупационной армией.**

Джимми натолкнулся на человека, которого он чуть не принял за Кейруса Рабина, в такой мере был он похож на маленького еврейского портного. Этот человечек был занят тем, что помогал большому чернородому крестьянину тащить дрова; это был русский еврей с резко очерченным лицом, умными черными глазами, впавшими щеками, словно он ряд лет недоедал. Ужасный кашель сотрясал его. За отсутствием обуви, ноги и руки его были обмотаны в тряпки, но он выглядел бодро, и сбросив свою ношу, кивнул Джимми, с возгласом: „Алло!“

— Алло!—ответил Джимми.

— Я говорю по английски.

Джимми никогда не удивлялся, если кто-нибудь говорил по английски, наоборот, он недоумевал, если не понимали этого языка. Он улыбнулся и сказал: „Ну, да“.

— Я был в Америке—продолжал тот,—работал в потогонной фабрике.

Видно было, что он охотнее болтал, чем носил дрова. Он остановился и спросил:—„Где вы работали в Америке?“ Крестьянин стал ворчать и звал его опять к работе. Уходя, он заметил: „Я буду часто говорить с вами об Америке“. Джимми улыбнулся в знак согласия.

Через несколько часов, уходя домой, он натолкнулся в темноте на маленького еврея, который дожидался его. „Порою я скучаю за Америкой“—сказал он, зашагав вместе с Джимми и хлопая руками, чтобы согреться.

— Чего ж вы вернулись в Россию?—спросил Джимми.

— Я читал о революции, думал тут разбогатеть.

— Го, го—усмехнулся Джимми во все зубы,—ну что, разбогатели вы?

— Входили вы в Америке в профессиональный союз?—спросил тот в ответ.

- Конечно.
 - В какой?
 - В союз механиков.
 - Участвовали и в стачках?
 - Я думаю.
 - Может-быть бывали и биты?
 - Ясно.
 - Вы никогда никого не выдавали?
 - Да что вы!
 - Обладаете ли вы тем, что называется классовым сознанием?
 - Будьте покойны. Я социалист“.
- Русский повернулся к Джимми, голос его задрожал от волнения. „Есть у Вас красный билет“?
- Конечно, в кармане.
 - Боже мой!—воскликнул русский,—товарищ!—Он протянул Джимми свои завернутые в тряпки руки.—Товарищ!
 - Здесь на севере, в этой глухой ледяной пустыне произошло одно из тех чудес, которые совершает дух мировой солидарности. Дрожа от волнения, пожимал маленький еврей руки Джимми.
 - Но если вы социалист, то отчего же вы боретесь с русскими рабочими?
 - Я не против них борюсь.
 - Вы в военной форме.
 - Я лишь починяю автомобили.
 - Но все-таки вы помогаете! Вы помогаете убивать русский народ, уничтожать Советы! Зачем?
 - Я этого не знал,—сказал Джимми почти умоляюще,—я хотел бороться против кайзера, а они послали меня сюда, ничего мне не сказав.
 - Вот таков всегда милитаризм, капитализм! Мы—рабы. Но мы будем свободны! И вы нам поможете, не будете убивать русских рабочих?
 - Конечно, нет!—ответил отрывисто Джимми.
- Маленький еврей взял Джимми под руку: „Пойдемте со мной, вам кое-что покажу, товарищ.“

Они шли по темным улицам и дошли до тянувшихся рядами боковых хижин, деревянных домишек со щелями, заткнутыми соломой и глиной. В таких жилищах американский фермер не держал бы скота. „Так живут рабочие“, сказал русский, и постучал в дверь. Открыла какая-то женщина, облепленная со всех сторон детьми. Мужчины зашли в комнату, освещаемую коптящей лампой и огнем печки, на которой варилась капуста. Русский не сказал ни слова женщине, указал Джимми на стул вблизи печи, и стал вглядываться в него своими острыми черными глазами.

— Покажите мне свой красный билет,—сказал он вдруг. Джимми выскользнул из своего овечьего тулупа, растегнул вязаную куртку и вытащил из внутреннего кармана пиджака драгоценный билет, на котором значились подписи секретаря лесвильской, гопеляндской и пронтонской местных групп. Русский посмотрел на него и кивнул головой. „Ладно. Я верю вам“. Он вынул билет Джимми: „Моя фамилия Коленкин, и я большевик“.

Сердце Джимми забилося сильнее, хотя он готовился к этому открытию. „Наша гопелендская группа звалась большевистской“.

— Нас прогнали отсюда,—продолжал еврей,—но я остался для пропаганды; я ищу товарищей среди американцев и англичан. Я говорю им: не боритесь против рабочих, боритесь с господами, с капиталистами. Поняли?

— Понял.

— Если эти господа меня поймают, то они убьют меня. Я доверяю вам.

— Я ничего не выдам!—воскликнул резко Джимми.

Вы должны мне помочь. Идите к американским солдатам и скажите им: „Русский народ был долгие годы рабом, но вот он освобожден, а вы приходите, чтобы убивать нас и сделать опять рабами. Зачем вы это делаете? Что скажете вы мне на это, товарищ?“

Джимми возразил: „Они скажут, что хотят бить кайзера“.

— Мы помогаем бороться с кайзером, мы боремся с ним.

— Они утверждают, что вы с ним помирились.

— Нашим средством борьбы является пропаганда—ее кайзер боится больше всего на свете. На нее мы тратим миллионы рублей; мы печатаем газеты, воззвания, одним словом, вы сами знаете, товарищ, как работают социалисты. Мы посылаем их в Германию, собираем их с аэропланов. У нас есть типографии в Швейцарии, Голландии, повсюду. Немцы читают то, что мы пишем, думают над этим, спрашивают себя: „Зачем боремся мы за кайзера, отчего мы не так свободны как русские?“ Я это знаю, товарищ, я говорил со многими немецкими солдатами. В Германии загорается пожар. Может быть пройдет год, два—но в один прекрасный день люди увидят, что большевики были правы: они знают рабочих, сердца рабочих,—лишь они одни владеют тем огнем жизни, которого нельзя погасить в сердцах.

— Конечно, сказал Джимми,—но таких вещей нельзя говорить американским солдатам.

— Ну разве я этого не знаю? Я был ведь в Америке! Они там считают себя избранным народом, думают, что все знают и не позволяют себя учить. У них, мол, демократия, у них-де нет классовых различий, наемных рабов?—Это, мол, лишь заграничные отбросы и прочее. Они стреляли в нас, я сам видел, как во время одной стачки рабочие были избиты до полусмерти.

— Мне все это известно. Что можем мы сделать?

— Пропаганда! воскликнул Коленкин.

Впервые у нас достаточно денег для пропаганды—все деньги России принадлежат ей. Мы проникаем к рабочим всего мира, бросаем им клич:

„Подымайтесь! Поднимитесь и разбейте ваши цепи!“ Вы думаете, что они не послушают нас, товарищ? Капиталисты знают, что рабочие послушают нас, они дрожат, посылают против нас войска, чтобы уничтожить нас. И они думают, что эти войска будут всегда слушаться их. Правда, ведь?“

— Они думают, что русский народ подыметесь против вас.

Маленький человечек расхохотался неудержимо веселым смехом. „У нас собственное правительство; впервые во всем мире пролетариат пришел к власти, а они там думают, что мы восстанем против нас же самих! Они выставляют—марионеток, называющих себя социалистами, образуют в Архангельске правительство, которое называют русским правительством! Пусть они сами одурачивают себя, нас им не одурачить!“

— Они думают, что это правительство будет все больше распространять свою власть, заметил Джимми.

— Да, до тех пределов, до каких проникнут их армии. Если Россия увидит, что в ее пределы вторгаются чужие войска, каждый

русский станет большевиком. А почему, товарищ? Ибо все русские знают, что значит, если бы капиталисты основали в России новое правительство. Это означает займы—задолженность Франции, Англии. Знаете вы это?

— Конечно,—ответил Джимми.

— Это миллиарды. Одной лишь Франции пятнадцать миллиардов. Большевики говорят: мы не заплатим. Почему должны мы платить? Эти деньги ведь были даны займы царю.

Зачем? Затем, чтобы он поработил русских, забрали их в войска, выслали против японцев. Для усиления полицейских и высылки в Сибирь сотен тысяч русских социалистов. Верно это? Должны ли русские социалисты уплачивать такие долги?

Мы говорим: „Нам дела нет до долгов, вы дали эти деньги займы царю, получайте их от царя же обратно!“ Они рычат: „Вы должны платить!“, высылают армии для грабежа русской земли, населения, угля и денег. Так, ведь, товарищ! Но мы никогда не уплатим этих денег.

Пусть они выколачивают их, пусть забирают пядь за пядью каждый город, каждую деревню, а мы будем в это время вести пропаганду в их войсках, во французских, английских и американских войсках, точно так же, как и в германских.

Маленький человечек произнес длинную речь и замолк вдруг, утомленный ею. Ужасный кашель стал разрывать его грудь, и он прижал к ней обе свои руки, а бледное лицо пылало, точно в зареве. Жена подала ему стакан воды и стала возле, положив ему руку на плечо; ее широкое, в глубоких складках, лицо крестьянки вздрагивало. Джимми тоже содрогнулся: душа его как бы прозрела; он знал истину о том, что происходит, знал, в чем его долг. Все, что было так просто, так само собой понятно, вся жизнь его была лишь подготовкой к этому. В душе его звучали слова другого пролетарского мученика: „Да минует меня чаша сия!“. Но Джимми подавил голос слабости своей и сказал: „Скажите, товарищ, что мне делать?“

Коленкин спросил: „Вели ли вы в Америке пропаганду?“

— Конечно; однажды я был арестован за речь на собрании под открытым небом.

Русский отошел в угол комнаты, и порывшись среди полудесятка кочанов капусты, вытащил пакет. Пакет содержал около двухсот прокламаций. Коленкин передал их Джимми и сказал: „Меня спросили: „Как объяснить американцам истину?“ Я ответил: „Покажите, как мы ведем пропаганду среди немцев, перепечатайте воззвание к немцам в английском переводе, дабы англичане и американцы могли их прочитать. Это наверно поможет“.

Джимми поднес воззвание к лампе и прочитал:

„Воззвание армейского комитета двенадцатой русской Красной армии, наклеенное на стенах Риги во время занятия города немцами:

Германские солдаты!

Русские солдаты двенадцатой армии обращают ваше внимание на то, что вы ведете войну за самодержавие, против революции, свободы и справедливости. Победа Вильгельма означала бы смерть демократии и свободы. Мы очистили Ригу, но знаем, что силы Революции окажутся более мощными, чем силы пушек. Мы знаем также, что в конце концов победит ваша совесть и что германский солдат в

единении с русской революционной армией пробьет себе дорогу к свободе. В данный момент вы сильнее нас, но ваша мощь, это—лишь мощь грубой силы; моральная сила на нашей стороне. История покажет вам, что германский пролетариат изменил своим братьям по революции; изменил международной солидарности. Это преступление можете вы искупить лишь одним способом. Помните, в чем ваши интересы и одновременно интересы всего человечества и боритесь всеми силами с империализмом. Идите рука об руку с нами—навстречу жизни, свободе.

Джимми поднял глаза.

— Что вы скажете по этому поводу? спросил страстно Коленкин.

— Великолепно!—воскликнул Джимми—именно это нам нужно. Против этого ничего нельзя возразить, это покажет им, что делают большевики.

Тот жестко усмехнулся. „Товарищ, если у вас будет найдено это воззвание, то вас застрелят, как собаку. Всех нас расстреляют“.

— За что?

— Потому что это большевистское.

Джимми хотел воскликнуть: „Но ведь все это сущая правда!“, но почувствовал сам, как это наивно и промолчал. Коленкин продолжал:

— Вы можете показать это лишь тем людям, в которых вы уверены. Запрячьте хорошо воззвание, выньте одно из них, выпачкайте его и скажите: „Я нашел его на улице, глядите, так борются большевики с кайзером, но отчего же боремся мы с ними“? Распространите пока эти листки, через несколько дней я принесу вам что-нибудь новое.

Джимми согласился, что так будет лучше всего. Он засунул двадцать листов во внутренний карман своего пиджака и одел тяжелый тулуп и теплые рукавицы, которые он бы охотно оставил изголодавшемуся, замерзшему большевику, затем, похлопав его по плечу, сказал: „Положитесь на меня, товарищ, я распределю листки и ручаюсь, они не останутся без влияния“.

— И вы меня не выдадите? спросил Коленкин.

— Нет, если бы даже они захотели содрать с меня кожу живьем.

Джимми Хиггинс находит свою душу.

Джимми пошел ужинать, но от запаха еды ему сдавливало горло—он думал об изголодавшемся маленьком еврее. Тридцать серебряников выжгли тридцать дыр в кармане Джимми Хиггинса и как некогда Иуду, тянуло и его повеситься—и он сделал это по скорейшему методу.

Возле него сидел велосипедист, бывший до войны организованным жестянником; он часто беседовал с Джимми о том, что рабочие не должны остаться после войны безработными, иначе—беда политикам. После ужина Джимми отвел своего соседа в сторону и спросил: „Слушайте, я имею вам показать нечто интересное“!

Интересного было в этом краю мало... „А что такое?“—спросил жестянник.

— Я шел по улице и нашел в сточном жолобе кусок печатной бумаги. Это копия большевистской прокламации к германским солдатам, которую они распространяли в германских окопах.

— Ого! Что же они там пишут?

— Солдаты призываются к восстанию против кайзера—по русскому примеру.

- А вы разве понимаете по немецки?
- Нет, она написана по английски.
- Почему же она написана по английски?
- Я не знаю.
- Как это воззвание очутилось в Архангельске?
- Не знаю.
- Иисусе Христе! воскликнул жестяник, не хотят ли эти черти взяться за нас!
- Об этом я и не думал,—возразил хитро Джимми—это весьма возможно.
- Побьемся об заклад, что у янки они ничего не добьются!
- Вероятно; но все-таки, то, что говорится в этом воззвании, весьма любопытно.
- Покажите-ка!
- Но не говорите никому об этом, предупредил Джимми—я не хотел бы иметь неприятностей.
- Ладно! Велосипедист прочитал воззвание.
- Клянусь Богом, это забавно!
- Почему?
- Не похоже на то, чтобы эти люди поддерживали кайзера! Велосипедист почесал у себя за ухом. „Мне это кажется даже разумным“.
- И мне—сказал Джимми, я бы и не думал, что у этих людей такая сметка в голове.
- Это то и нужно германскому народу.
- Нам надо бы найти побольше людей для распространения этих воззваний.
- И я думаю так же—воскликнул восторженно Джимми.
- Велосипедист раздумывал. „Плохо—сказал он после минутного размышления,—что большевики распространяют такие воззвания не только среди германцев, а среди солдат обеих сторон“.
- Может быть!—Восторженность Джимми возрастала с каждой минутой.
- И это было бы скверно, продолжал солдат, это могло бы расшатать дисциплину.
- Надежды Джимми рушились.
- В конце концов жестяник объявил, что он хотел бы оставить воззвание у себя и кой-кому показать. Он обещал еще раз Джимми не упоминать его имени, и тот расстался им ужасающим и ненавистным. Наборщик читал как раз газету, переполненную размазней, которую синдикат крупных банкиров считает подходящей умственной пищей для человека из народа. У него был скучающий вид, и Джимми оторвав его от газеты, сыграл с ним ту же комедию, что и с жестяником—с тем же результатом.

„У. М. С. А.“ с остатками экспедиции прибыл также в Архангельск. Он все строил хижину, в которой публика могла играть в шахматы, читать, покупать шоколад и папиросы за чрезмерную, впрочем, по их мнению, цену. Джимми направился в хижину и нащел там одного американского солдата, с которым часто беседовал во время своего морского путешествия. Солдат был прежде наборщиком, и соглашался с Джимми, когда тот утверждал, что очень многие политики и журналисты не понимали радикальных мыслей президента Вильсона, а то что понимали, казалось им ужасающим и ненавистным. Наборщик читал как раз газету, переполненную размазней, которую синдикат крупных банкиров считает подходящей умственной пищей для человека из народа. У него был скучающий вид, и Джимми оторвав его от газеты, сыграл с ним ту же комедию, что и с жестяником—с тем же результатом.

Затем Джимми пошел в один из кинематографов, которые должны были развлекать экспедицию в длинные северные ночи. На полотне фигурировала модно одетая, завитая молодая особа с годовым доходом в миллион долларов, игравшая роль уличной девицы; она жаловалась на такие тяжести жизни, которые бедные люди считают само собой понятным и, наконец, молодая особа получила вознаграждение в виде любви богатого, благородного преданного юноши, разрешившего социальную проблему путем предоставления в ее распоряжение целого дворца. И эта трогательная пьеса была предварительно предложена на отзыв синдикату богатых банкиров, а затем лишь должна была стать достоянием простого народа. В самом потрясающем месте, когда девица попала в арестный дом, и большие капли воды струились по ее щекам, стоявший рядом с Джимми солдат заметил: „Фу ты черт, и чего они нам показывают всю эту дребедень?“.

Джимми предложил уйти, и на свежем воздухе сыграл в третий раз свою комедию, и его опять попросили оставить найденное в сточном жолобе воззвание.

Так продолжалось два дня, пока Джимми не избавился от последней прокламации.

К вечеру второго дня, когда наш хитрый пропагандист собирался укладываться спать, неожиданно появился фельдфебель с шестью солдатами и объявил: „Хиггинс, вы арестованы!“

Джимми выпучил на него глаза: „За что?“

— По приказу. Больше ничего не знаю.

— Обождите-ка минутку... начал Джимми, но фельдфебель возразил, что нечего тут ждать, схватил Джимми за руку, другой солдат схватил его с другой стороны и так его отвели. Третий солдат забрал ранец Джимми, пока остальные обыскивали комнату, разрезали матрац и исследовали пол.

Джимми сообразил в чем дело, и когда его привели к лейтенанту Ганнету, он уже решил как действовать.

Вытянувшись в струнку, злобно глядя сквозь свое пенсне, сидел лейтенант за столом, где перед ним лежала сабля и револьвер, точно он собирался немедленно казнить Джимми и лишь не знал еще каким оружием.

— Хиггинс—обрушился он на его—откуда у вас это воззвание?

— Я нашел его в сточном жолобе.

— Вы лжете!

— Нет, сударь.

— Сколько штук вы нашли?

— Джимми ждал этого вопроса и попытался проявить самоуверенность. „Я думаю—три“.

— Вы лжете!—опять загремел лейтенант.

— Нет, сударь!—ответил скромно Джимми.

— Кому дали вы воззвание?

Это было уже менее приятно; Джимми смутился: „я-я-я предпочел бы лучше этого не говорить“.

— Я приказываю вам отвечать.

— К сожалению, сударь, не могу!

— Вы нам расскажете, не беспокойтесь, прежде чем мы с вами покончим. Скажите уж лучше сразу. Вы утверждаете, значит, что нашли три воззвания?

— Может-быть их было и четыре,—ответил хитро Джимми.—Я не обратил на это особенного внимания.

— Вы сочувствуете этим взглядам,—сказал лейтенант—или вы это оспариваете?

— Нет, сударь, я с ними отчасти согласен.

— Вы нашли эти листики в книжке и не дали себе труда считать их?

— Точно так, сударь.

— Может-быть их было шесть штук?

— Не знаю, не думаю.

— Не было там наверно шесть штук?

— Нет, сударь, возразил Джимми, почувствовавший вдруг большую уверенность,—наверно не было.

Тут лейтенант открыл ящик стола, вытащил пачку помятых, запачканных воззваний, разложил их порознь на столе, одно, два, три, четыре, пять, шесть, семь! Вы лжете!—повторил лейтенант.

— Ошибся, сударь.

— Обыскали уже этого молодца!—обратился офицер к стоявшим вокруг солдатам.

— Еще нет, господин лейтенант.

— Сделайте это сейчас!

Солдаты убедились раньше, что Джимми не вооружен и раздели его затем догола. Они обыскали все, оторвали даже подошвы от его сапог. Первое, что они нашли, был красный „членский билет“ во внутреннем кармане пиджака. „Ага—воскликнул лейтенант.—Лишнее доказательство бунтовщического образа мыслей“.

— Это членский билет социалистической партии—сказал Джимми.

— А вы разве не знаете, что за ношение этого билета у нас получают двадцать лет тюрьмы?

— Если это так, то это позор—заметил твердо Джимми.

— Замолчать!—закричал офицер.

Наступила пауза. Джимми влез в свои одежды, а лейтенант Ганнет попытался опять обрести спокойствие. „Хиггинс,—начал он наконец более спокойным голосом—вы уличены как изменник отечеству и знамени, за что полагается смертная казнь. Одно только может вас спасти: открытое признание. Поняли?

— Да, сударь.

— Скажите мне, кто дал вам воззвание?

— К сожалению, не могу сказать: я нашел их в сточном жолобе,

— Вы упорно настаиваете на этой глупой выдумке?

— Это верно, сударь.

— Вы хотите, значит, спасти своих друзей своей собственной жизнью?

— Я сказал все, что знаю сударь.

— Хорошо!—ответил лейтенант. Он вынул из ящика пару ручных кандалов и одел их Джимми. Затем схватил саблю и револьвер, и Джимми, не знавший военных церемоний, испугался на смерть. Но офицер лишь одел оружие, мех, рукавицы и шапку и приказал Джимми следовать за ним. На улице ждал автомобиль, и офицер поехал с Джимми и двумя солдатами в военную тюрьму.

Это здание велел построить царь, чтобы держать в угнетении народ этого края, а теперь оно служило союзникам для той же цели. Громадная каменная постройка выросла мрачно вглубь ночи, а Джимми, возвестивший в Лизвиле, что Америка еще хуже России, понял, что ошибся—Америка и Россия равны друг другу.

Они вошли по каменной лестнице, железная дверь открылась и захлопнулась за ними со скрежетом на запор. За столом сидел фельдфебель, занесший в книгу фамилию Джимми и проч. Точно также, как это произошло и в Лизвиле С. Ш. А. Фельдфебель был одет в хаки, но это был тот же самый сержант—полицейский, что и дома; его вернули к его старому занятию, точно также как столяров—к вколачиванию гвоздей, а хирургов—к операциям.

— Фельдфебель Перкинс,—проговорил лейтенант,—это дело передается лично вам.

— Хорошо, господин лейтенант.

— Этот человек уличен в изменнической пропаганде против безопасности армии. Нам достоверно известно, что у него есть сообщники но он отказывается их назвать. Мы должны узнать их имена.

— Да, господин лейтенант.

— Мы должны их узнать сейчас; может скоро стать известным его арест, и заговорщики сбегут. Отведите его, допросите, узнайте все, что можно. Я буду здесь ждать.

— Слушаю, господин лейтенант. Фельдфебель поднялся всем своим громадным телом со стула, сжал руку Джимми в своих винтообразных пальцах и потащив его по длинному корридору, спустился по узкой лестнице вниз. По дороге к ним присоединилось еще двое мужчин в хаки и так вчетвером шли они по всяким подземным ходам, пока, наконец, достигли подземелья с железной дверью. Они вошли и звук закрывающейся двери показался бедной Джимминой душе звоном похоронного колокола. Фельдфебель Перкинс рванул Джимми за плечи и вперил в него бешенный взгляд: „Ну, собачье отродье!“

Этот мужчина был в Америке полицейским сержантом и знал поэтому толк в „методе третьей секции“, помощью которого арестованные вынуждаются признаваться во всем, что знают и еще во многом, чего не знают, но что полиции весьма желательно было бы слышать. Один из двух солдат, ефрейтор Коннор был знаком с этим методом—по собственному опыту. Это был вор, имя которого фигурировало во многих тюремных списках. В последний раз он был арестован во время драки в кабаке, и судью, не знавшего прошлого обвиняемого, так растрогали его слезы, что он его освободил с условием, чтобы тот вступил немедленно в армию.

Второй солдат звался Грэди; он оставил жену и детей в наемной казарме „адской кухни“ в Нью-Йорке, и отправился воевать с кайзером. Это был славный, приличный ирландец, зарабатывавший тяжело своей насущный хлеб, втаскивая в течение десяти часов в день известь и кирпичи по высоким лестницам. Во всю свою жизнь им были лишь раз недовольны—а именно в народной школе, когда он был мальчиком. Он твердо верил, что где то под его ногами кипит ад из серы и пламени, в который он попадет на веки вечные, если послушается приказаний священника. Грэди знал также, что есть на свете дурные люди, которые сквернословят против святой церкви и совлекают тысячи людей в бездну ада; эти дурные люди называются социалистами и анархистами и являются слугами дьявола на земле. Не бросили ли они недавно бомбу в собор пятого авеню, на расстоянии не полной мили от наемной казармы, где жил Грэди? Они это сделали, и потому святым долгом являлось уничтожить их с корнем. Так думали все эти Грэди в течение тысячелетий, и поэтому пускали в ход все свои пытки в черных подземных катакомбах в Италии, Австрии, Испании и больших городах Америки, где святая католи-

ческая церковь, вместе с другими крупными организациями сильных мира сего держит в руках полицейскую власть.

Слушай же, собачий сын—начал Перкинс,—послушай, что я тебе скажу. Ты должен назвать мне их имена, ты назовешь их, понял? Ты верно думаешь упорно отказываться, но, если и нужно будет, то я вырву все твои члены один за другим.—Я спуску не дам. Понял?

Джимми кивнул головой; слова застряли у него в горле, из которого вышло лишь несколько звуков.

— Ты будешь только мучиться, если станешь колебаться. Будь разумен. Кто они?

— Нет никого... Они...

— А, так! Ну посмотрим! Фельдфебель повернул Джимми так, что тот стал к нему спиной.

— Держите его! приказал он обоим солдатам, и те придержали его крепко за плечи. Фельдфебель рванул закованные руки Джимми вверх.

— Ох!—закричал Джимми.—Перестаньте! Перестаньте!

— Назовешь ты их имена?

— Перестаньте,—рычал Джимми—ты сломаешь мне руку, ту, раненую.

— Раненую?—спросил фельдфебель.

— Да, пулей!

— Фу ты черт,—сказал фельдфебель.

— Это верно, спросите кого хотите. В битве у Шато-Тьерри во Франции.

На один момент тиски, в которых были сжаты руки Джимми, несколько ослабели. Но тут фельдфебель вспомнил, что если человек хочет сделать военную карьеру, то нечего нежничать: „Если ты был ранен на войне, то отчего же стал теперь предателем? Имена!“ И он дернул руки Джимми еще выше.

Джимми и во сне не снились такие адские боли. Он зарычал: „Обождите, обождите! Слушайте...“ Палач перестал нажимать. „Имена!“ И так как Джимми не называл имен; то он начал пытку сначала. Джимми корчился, вытягивался, и двое других держали его как в тисках. Джимми умолял, рыдал, стонал, но стоны тюрьмы были, в мудром предвидении, устроены так, чтобы собственники этого здания не могли слышать того, что происходило внутри его в их интересах.

Мы ходим по музеям и рассматриваем дьявольские орудия, применявшиеся прежними поколениями для пытки своих ближних. Мы содрогаемся и радуемся, что живем в более гуманное время, и не понимаем того простого факта, что для пытки человеческого тела нет нужды в особенно искусных орудиях пытки—это может и без них проделать всякий, имеющий в своей власти беспомощного человека. Для этого ему нужен лишь „отвратительный“ мотив—т. е. подтверждаемая законом привиллегия.

— Назовите мне их имена,—сказал фельдфебель. Джиммины руки были пододвинуты к затылку, а фельдфебель стоял, нагнувшись над Джимми и сжимал, сжимал его руки. Но Джимми почти ослеп от боли, все его тело подергивалось в судорогах. Какой ужас, разве могут быть такие муки! Пусть будет, что будет, лишь бы не было этих мук! Какой то голос вопил в душе Джимми: „Скажи им, скажи им!“ Но тут он вспомнил про маленького еврея, такого больного, так ему доверившегося... Нет, нет, он будет, будет молчать! Он не вы-

даст его никогда! Но что ему делать? Переносить эту пытку? Он не может перенести ее. Это слишком ужасно. Он корчился, рыдал, умолял, визжал. Может быть и были люди, которые под пыткой сохранили достоинство, Джимми не принадлежал к ним, он был жалок, на половину лишился рассудка, он делал все, все, чтобы спасти себя—кроме одного—того, чего требовал Перкинс.

Это продолжалось так долго, пока фельдфебель не выбился из сил; примитивный ручной процесс, за который американская сентиментальность осуждает полицию, обладает известными отрицательными сторонами. Палач вышел из терпения, он рвал и вертел Джиммины руки так, что Коннор должен был его призвать к порядку, ибо, конечно, ни один член не должен был быть сломан у арестованного.

Перкинс приказал: „Голову вниз!“ Они нагибали Джимми вперед, до тех пор, пока голова его не коснулась пола. Грэди связал Джиммины ноги, Коннор держал его крепко за шею, а Перкинс наступал на ручные кандалы. Так мог он продолжать эту процедуру, не будучи вынужденным стоять в наклонном положении, что было для него большим облегчением. „Чорт с ним!—крикнул он—я не могу оставаться здесь всю ночь.“

— Ну, признавайся же!

Каждая новая боль казалась Джимми еще хуже предыдущей. Он никогда бы не думал, что страдания могут быть так тягучи, что они могут жечь тело таким пылающим пожирающим пламенем. Он скрежетал зубами, кусал свой язык до крови, бился головой о каменный пол. Все за одно мгновение облегчения, даже новые муки были бы для него облегчением, лишь бы забыть на секунду бешенную боль в спине, локтях, членах рук и ног. Но облегчение не наступало, дух его терялся в глубинах какой-то пропасти, из далекой дали, точно с вершины высокой горы звучал голос Перкинса; „Сознайся! Имена! Иначе всю ночь проведешь вот так“.

Но этого не произошло: Перкинс устал стоять на одной ноге, кроме того, он знал, что лейтенант нетерпеливо шагает наверху взад и вперед, проклиная неумелость полиции. Джимми слышал голос с горной вершины:

„Дело не идет; надо его немножко подвесить“. Перкинс вытащил из кармана веревку, завязал один конец вокруг больших пальцев рук Джимми, другой конец привязал к железному кольцу на стене, вколоченному туда еще каким-то царским прислужником, чтобы кольцо это послужило когда-нибудь делу демократии. Оба солдата стали поднимать Джимми, пока его ноги перестали касаться пола затем стали натягивать веревку и Джимми повис всей своей тяжестью на пальцах все еще скованных сзади рук.

Теперь он не утруждал уже своих тюремщиков, но представлял собой безобразную картину: с искаженным, пурпурно-красным лицом и кровавым высунутым языком. Они повернули его лицом к стене; слышали несколько больше звуков, но звуки эти не были слишком приятны; визгливый, почти ритмический бред, как будто исходящий от целого зверинца пытаемых животных.

Проходили минуты. Перкинс стал впадать в раздражение. Ему это не мешало, у него были крепкие нервы, а кроме того он раньше имел много дела с интернационалистами; но мысль о лейтенанте беспо-

коила его; кроме того, на карте стояла его репутация. Он толкнул Джимми и спросил: „Ну что, скажешь?“

И так как Джимми все еще отказывался, то он заметил: „Попробуем-ка водяное лечение. Коннор, принесите-ка несколько кувшинов воды и средней толщины кишку.

— Хорошо,—сказал вор и вышел из камеры. Перкинс опять обратился к своей жертве: „Слушай, ты, чортово отродье, теперь наступит нечто иное, и ты наверно спасуешь. Я был с армией на Филиппинах и там это средство всегда действовало; я не видел еще человека, который мог бы это выдержать. Мы накачаем тебя водой, через несколько часов ты получишь новую порцию и так далее, днем и ночью, пока сдашься. Подумай-ка скорей и говори—легче накачать воду, чем потом выкачать ее.

Джимми прижал лицо к стене; боли в его пытаемых пальцах были как уколы ножа. Он понял угрозу и вся его душа вопила об избавлении во что бы то ни стало.

Джимми вел борьбу, самую сильную борьбу, какую пришлось когда либо вести человеку,—борьбу совести со слабостью плоти своей: Выдать или не выдать? Бедное, пытаемое тело кричало: „Говори!“ Но совесть хрипела слабеющим голосом „Нет, нет!“ И этот голос не должен был замолкнуть ни на секунду, ибо борьба не кончалась, победа не была достигнута. Всякий момент означал новые муки и поэтому при каждом новом искушении, должны были повторяться все те же доводы. „Почему не должен я говорить? Потому что Коленкин доверился мне, а Коленкин—товарищ. Но может быть Коленкина здесь больше нет; может-быть он умер от своего кашля, или услышал о моем аресте и убежал. Может быть они бы Коленкина и не пытали, ведь он не солдат; они бы его лишь посадили в тюрьму, а его работу продолжали бы другие, быть может“...

И так все время; но слабый теряющий силы голос шептал Джимми Хиггинсу:

„Ты—революция! Ты—борющаяся за свою жизнь социальная справедливость мира. Ты—Человечество, лицо которого повернуто к свету, которое за ужасами старого видит новые цели.

Ты—Иисус на кресте, если ты сдашься, то мир обрушится опять во мрак, может-быть на веки. Ты должен выдержать! Ты должен вынести это!

И это и еще то, другое! Ты должен все вынести, всегда, сколько будет нужно! Не сдавайся!

Коннор вернулся с кувшинами, с водой и кишкой. Джимми отвязали—о, какой чудесный момент облегчения для его пальцев!—и с опухшими, ноющими, все еще скованными на спине руками, положили на пол. Грэдди сел на его ноги, Коннор на грудь. Перкинс сунул ему кишку в рот и начал вливать воду.

Джимми должен был, конечно, глотать воду, чтобы не задохнуться, вскоре он был весь наполнен водой, и стал чувствовать такие страдания, каких никогда еще не испытывал. Это были как бы после операционные боли, но еще хуже. Он надулся как воздушный шар, казалось, что живот его вот-вот лопнет, все его тело стало сплошной мукой. Временами Коннор садился еще крепче на живот, чтобы вода лучше распределялась. Джимми не мог кричать, лицо его стало совсем синим, жилы на висках и затылке напряглись, он хрипел, задыхаясь, и тысячи острых ножей пронзали его со всех сторон.

Джимми часто говорил со своими международными друзьями об этом „водяном лечении“, излюбленном полицейском методе в маленьких городах и деревнях: он прост, дешев, чист, не оставляет на теле жертвы никаких ссадин и ран, которые обвиняемый мог бы, показать на суде, закрывает ему рот, так что из окна камеры не слышно никаких криков, и полиции весьма легко отрицать вовсе жалобы подсудимого: „Ах,—думал Джимми,—все же никому не приходилось, верно, переносить таких мук, как мне; таких страданий не переживал ни один смертный!“ Бедный Джимми плохо знал историю; он не знал, что нет таких мук, которых не пришлось бы переживать людям от других людей, с тех пор как в законе стоит слово „привилегия“, и привилегированные могут применять закон для низких целей.

В душе Джимми Хиггинса бушевала издревле вечная борьба. Он был незначительный, маленький машинист-социалист с плохими зубами и опухшими руками. Возвышенные, вдохновенные поступки были не по нему, ему недоставало даже самого элементарного достоинства—но тяжело соблюдать достоинство лежа на полу с несчетным количеством литров воды в животе, когда на твоих ногах сидит один человек, на животе другой, а третий все продолжает лить воду из кишки. Джимми мог лишь не сдаваться в своей внутренней душевной борьбе. „Подними колено, если захочешь признаться“—сказал Перкинс, и от времени до времени Греди подымался, чтобы Джимми мог поднять колено,—но Джимми колена не поднимал.

В самой глубине пытаемой души Джимми произошло нечто удивительное. Связанный, беспомощный, в безграничном отчаянии, извиваясь в мучительных судорогах, Джимми молил без слов о помощи—и она явилась ему. Пришла помощь, которая проникает сквозь стены тюрем, не взирая на тюремщиков и палачей, та сила, что разбивает железные засовы и прогоняет страх:

„Великие союзники даны тебе,
Экстаз и муки—вот друзья твои,
Любовь и дух неодолимый“.

В душе Джимми Хиггинса ликовал голос, заглушающий все угрозы и приказы тиранов. Голос пел: „Я Человек, я—победитель. Я побеждаю плоть, побеждаю тело, возвышаюсь над ним. Я презираю осторожность, боязнь телесную; я Истина и мир услышит голос мой. Я Справедливость и разбиваю все законы и восцарствую в мире. Я Свобода и ломаю все законы, смеюсь над всеми запретами, я торжествую, я *возвещаю свободу!*“ И потому, что она святоясная, пребывала во все времена и во всех странах в душах людских, потому, что в них звучал этот мистический голос, человечество вышло из мрака и варварства и узрело во сне видение свободного, счастливого мира.

Джимми лежал, претворяя боль свою в экстаз, в головокружительное, опасное упоение, стоящее на грани безумия. Перкинс поднялся, покачал головой. „Чорт, что за дьяволыщина?“ Он нанес Джимми удар в ребра. Душа Джимми вспорхнула и улетела сквозь вечность от мук: „Клянусь я заставляю тебя говорить!“ Он оскалил зубы и стал наносить Джимми удары своими тяжелыми сапогами, пока Коннор не обратил его внимания на то, что это безнравственно, ибо оставляет следы.

Фельдфебель вдруг сказал: „Подождите“. Он вышел из камеры и отправился в комнату, по которой шагал взад и вперед Ганнетт.

— Лейтенант,—заявил он—я опасаюсь, что мы должны будем еще ждать—этот негодяй невероятно упрям.

— Он не хочет признаться?

— Несмотря на то, что я пустил все средства в ход, я не мог получить от него ни слова. Я хотел вас спросить—уверены ли вы, что он что-нибудь знает?

— Вполне,—ответил Ганнетт—он раздавал воззвания, которых не мог сам печатать. Он мне наверно солгал.

—Он социалист, не правда ли?—спросил фельдфебель.—Вы бы и не поверили, что эти люди могут выдержать. Я еще займусь им и доложу вам, если что-нибудь узнаю, но я боюсь, что не имеет смысла вам здесь ждать.

Офицер уехал, а Перкинс вернулся обратно в подвал и приказал, чтобы Джимми каждые два часа накачивали водою, но каждый раз перед этим спрашивали, не хочет ли он говорить. Джимми лежал, одинокий, на полу, визжал и плакал, пронизываемый временами дрожью экстаза, который не длителен, а должен быть все время возобновляем силой воли, как усталая лошадь понукаемая кнутом. Эта борьба не могла никогда закончиться полной победой.

Как может тело совсем забыть; как могут его вопиющие потребности быть совершенно подавлены? Зачем ужасная жертва? Кому польза от нее, кто узнает о ней, кому она нужна?—так говорит Сатана в душе, так длится вечная борьба между новой мечтой человека и тем старым, что он сам превратил в закон.

Джимми Хиггинс подает свой голос за демократию.

Наступил новый день, хотя Джимми не знал об этом в своем подвале. Он знал только, что сержант Перкинс вернулся и стоит, смотря на него и ковыряя в зубах перышком. Этот маленький большевик выдержал лечение водой дольше, чем кто либо из тех, кого знал Перкинс, и он со смущением дивился, что за проклятый болван, этот социалист, и чего он все таки думает этим достичь. Но необходимо было приняться за него, ибо Перкинс знал, что его карьера поставлена на карту. Предполагалось, что он должен что-либо обнаружить, а он ничего не узнал. Тогда он приказал подвязать Джимми за большие пальцы рук, бедные пальцы, распухшие до того, что стали втрое больше своего нормального размера и сделались почти черными. Но теперь вмешалась добрая Джиммина мать—Природа и остановила всю процедуру. Боль была до того нестерпима, что Джимми лишился чувств, и сержант, увидев, что его провели за нос, перерезал веревки, опустил свою жертву на пол и оставил ее лежать на сырых камнях.

Так в течение трех дней, жизнь Джимми состояла попеременно из обмороков и страданий—естественный ход вещей при „третьей степени“ в более упорных случаях. И все время в моменты сознания Джимми взывал к Богу, бывшему в нем, и Бог отвечал ему, окруженный своим воинством, победные трубы находили отзвук в Джимминой душе, и он не сознавался“.

На четвертый день трое мучителей вошли в камеру, подняли Джимми на ноги, вынесли его наверх по каменной лестнице, завернули в одеяло и посадили в автомобиль.

—Послушай—сказал Перкинс, сидевший рядом с Джимми,—тебя сейчас будут судить военным судом. Ты меня слышишь?

Джимми не дал на это никакого ответа.—Вот что я хочу объяснить тебе ради твоего же благополучия—если ты будешь болтать какую-нибудь чушь о том, что мы над тобой проделывали, то я привезу тебя обратно в подвал и буду разрывать твое тело по кускам. Ты меня понял?

Джимми опять ничего не ответил. Упрямый дьяволенок—подумал Перкинс. Но в душе у Джимми появилась слабая искорка надежды. Нельзя ли будет обратиться к высшим властям и избавиться от новых истязаний. Джимми верил в свою родину и в намерения своей родной страны защищать демократию; он читал изумительные речи президента Вильсона и не мог заставить себя думать, что президент может допустить, чтобы кого-нибудь мучали в тюрьме. Но увы! Далеко от белого дома до Архангельска—и еще дальше, если проводить этот путь через все разветвления военной машины, он больше проникнут бюрократизмом, чем любой сектор линии Гинденбурга опутан колючей проволокой.

Джимми провели в комнату, где за большим столом сидело семь офицеров с весьма суровым и торжественным видом. Перкинс поддерживал его под мышки, создавая этим впечатление, что Джимми передвигается сам. Джимми опустился на стул и бросил взгляд вокруг себя,—но увидел, что ему мало на что можно надеяться, судя по лицам тех, кто находился перед ним.

Джимми сидел на своем стуле, только отчасти обращая внимание на то, что происходило кругом, ибо его мучали распухшие пальцы и вывернутые руки. Искорка надежды погасла, и он утратил интерес ко всей процедуре—ему была нужна вся его сила, чтобы выносить боль. Он не сообщил суду, где достал листки, а когда его стали терзать, то он только стонал от боли. Он не отвечал и назначенному защитником капитану Эрднеру, который тщетно старался убедить его в том, что он действует в его интересах. Только дважды загорался Джимми; первый раз, когда майор Гаддис, председатель военного суда, высказывал свое негодование, как это кто-либо из граждан великой американской демократии может оказывать содействие тем большевистским гадам, которые установили царство террора по всей России, предавая огню, убивая, мучая...

— Кто говорит о мучении?—воскликнул Джимми, привстав со стула.—Разве вы не мучали меня... не разрывали меня буквально на части?

Суд был шокирован.

— Мучали?—сказал капитан Кашинг.

— Мучали меня по целым дням—может, целую неделю, почему я знаю, в этом подвале!

Майор Гаддис обратился к сержанту Перкинсу, который стоял позади Джимминого стула, с трудом удерживаясь, чтобы не схватить судимого.

— Что вы скажете относительно этого, сержант?

— Это чистейшая ложь, сэр.

— Взгляните на эти пальцы!—закричал Джимми.—Они подвешивали меня за них!

— Арестованный буйствовал,—сказал Перкинс—он едва не убил рядового Коннора, одного из сторожей, так что нам пришлось прибегнуть к некоторым мерам.

— Это ложь!—вскричал Джимми. Но его заставили замолчать, и полная достоинства военная машина замолчала дальше. Всякий пони-

мает, что дисциплина полетит к чорту, если слова тюремщика не будут одерживать верха над словом арестанта, слово преданного и испытанного подчиненного над словом изменника и заговорщика, открыто признанного питающим симпатии к врагу.

Затем председательствующий офицер задал вопрос, осведомлены ли подсудимый о том, что ему грозит смертная казнь. Не получив ответа, он продолжал осведомлять подсудимого, что суду придется применить эту высшую меру наказания, если только он не одумается, не назовет своих сообщников среди большевиков, для того, чтобы армия могла предохранить себя от пропаганды этих убийц. Тут Джимми опять воспламенился, но уже не с прежней горячностью, а скорее с оттенком едкой иронии.

— Убийц, говорите вы? А разве вы не собираетесь убивать меня?

— Мы повинемся закону,—заявил суд.

— Вы создали то, что называется законом, а они создали то, что ими называется законом. Вы убиваете людей, которые вам не повинуются, так и они поступают. В чем же разница?

— Они убивают всех образованных и законопослушных людей в России,—заявил сурово майор Гаддис.

— Всех богатых людей, хотите вы сказать,—сказал Джимми.— Они заставляют богачей подчиняться своим законам; они предоставляют им возможность, такую же самую, как и всем другим, а если те не повинуются, они их убивают—убивают столько их, сколько приходится убить, чтобы заставить их повиноваться. А разве вы делаете не то же самое, беднякам? Разве я не видел, как вы это делали, каждый раз, когда бывала забастовка? Спросите полковника Най, который здесь сидит. Разве он не сказал: „К чёрту, habeas corpus—мы дадим им *post mortem*“?

Пояковник Най вспыхнул; он не знал, что слава о нем все время шла за ним по пятам от Колорадо до Полярного Круга. Суд поспешил взять его под свое покровительство.

— Мы не ведем здесь социалистических дебатов. Вполне очевидно, что подсудимый неисправим и дерзок, стало быть, нет никаких поводов к снисхождению.

Таким образом суд признал, в конце концов, Джимми виновным в предъявленном ему обвинении и приговорил его к двадцати годам заключения в военной тюрьме—что являлось положительно мягким приговором, если принять во внимание все обстоятельства дела. В это же самое время в Нью-Йорке были преданы суду пять русских евреев, почти детей, из них одна девушка, за точно такое-же преступление, какое совершил Джимми—за раздачу воззвания к американским войскам о прекращении избиения русских социалистов. Эти дети получили по двадцать лет тюрьмы и один из них умер вскоре после своего ареста—его сотоварищи клялись, что это было результатом пыток, которым его подвергали агенты тайной федеральной полиции.

Перев. Н. Ш.